

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА



Евгений Замятин

МЫ



Евгений Иванович Замятин
Мы (сборник)
Серия «Школьная библиотека
(Детская литература)»

Текст книги предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=7444105

Мы [вступ. ст. Н. Кольцовой]: Детская литература; Москва; 2008

ISBN 978-5-08-004388-8

Аннотация

В книгу замечательного русского писателя Евгения Замятина вошли всемирно известный роман «Мы», повесть «Уездное», «английские» произведения «Островитяне» и «Ловец человеков», а также избранные рассказы.

Для старшего школьного возраста.

Содержание

Мифотворчество Евгения Замятина	7
Автобиография	47
Мы	58
Конец ознакомительного фрагмента.	140

**Евгений
Иванович Замятин
Мы**

Роман, повести, рассказы



Евг. Заминин

1884-1937

Мифотворчество Евгения Замятина

Большинством современных читателей Е. Замятин воспринимается, пожалуй, как автор одного произведения – романа «Мы». Действительно, для самого писателя роман явился итогом многолетних художественных поисков, экспериментов, самым выстраданным и потому самым дорогим творением. Однако замятинское наследие настолько разнообразно по тематике, стилю, языку, что видеть в писателе исключительно автора знаменитой антиутопии было бы непростительным упрощением. В произведениях Замятина встретились и причудливым образом соединились традиции русской и европейской литературы, достижения искусства и науки. Творческая мысль писателя, кажется, питается противоречиями, подобно электрическому разряду, пробегающему между противоположно заряженными полюсами.

Писатель, заявивший о себе как о продолжателе традиций Гоголя, Салтыкова-Щедрина, Достоевского, тем не менее настойчиво призывал своих коллег обратить взоры на Запад, научиться у европейских писателей строить динамичный, занимательный сюжет.

Математик и кораблестроитель по образованию, Е. Замятин пытается в своих теоретических работах выявить и обос-

новать законы, а может быть, даже вывести некую формулу современного искусства. «Математический» подход к искусству, безусловно, давал о себе знать не только в его литературоведческих, но и собственно литературных произведениях, в которых современники обнаруживали подчас излишнюю рассудочность, «выстроенность». Основания для подобных упреков, конечно, были. Замятин и своим творчеством, и самой манерой поведения поддерживал свою репутацию человека сдержанного, несколько педантичного. Не случайно А. Блок назвал Замятина московским англичанином, и это прозвище крепко срослось с писателем. Замятин великолепно владел английским, увлекался английской литературой, был горячим поклонником творчества Уэллса, кроме того, он некоторое время жил и работал в Англии. Однако вот что интересно: находясь в Англии, Замятин пишет о России, а по возвращении на родину создает произведения, в которых пытается обобщить свой зарубежный опыт. Более того, и в конце своей жизни, находясь в эмиграции, во Франции, он свои произведения пишет в основном на русском языке, оставаясь для европейцев русским, даже «слишком» русским писателем.

Может возникнуть ощущение, что Замятину доставляет удовольствие постоянно обманывать читательские ожидания, разрушая некие стереотипные представления о себе. Дело, думается, в другом. Замятин, как он признается в своей автобиографии, с детства привык идти по пути наиболь-

шего сопротивления, ставить эксперименты над собой, действовать вопреки обстоятельствам.

Замятин – еретик и бунтарь, революционер по своей натуре, поэтому он борется с любыми проявлениями косности – и в общественной жизни, и в политике, и в науке, и в искусстве. Так, он сражается с самодержавием, пока оно прочно удерживает свои позиции, и вступает в другое сражение – с зарождающимся на его глазах советским строем. В двадцатые – тридцатые годы прошлого века, будучи для представителей советской литературной общественности ярким антисоветчиком, он воспринимается русской эмиграцией как последовательный марксист. Для самого писателя в этом нет никакого противоречия: он признается, что навсегда отдал себя борьбе с консерватизмом, или, в терминах самого писателя, энтропией, где бы он ни столкнулся с ее проявлениями – в царской ли России, в Англии, в молодом ли Советском государстве. В своем письме Сталину Замятин называет себя «неудобным» писателем, понимая, что его идеи идут вразрез с господствующей идеологией.

«Неудобным» для власти Замятин оказался не только при жизни, но и на долгие годы после смерти, поскольку его творчество, и особенно роман «Мы», с течением времени не только не теряло, но и приобретало все большую актуальность – по мере того как сбывались самые мрачные пророчества писателя. Лишь в конце восьмидесятых годов XX века имя и творчество Замятина, хорошо известные на Запа-

де, вернулись наконец в русскую литературу. Возвращение писателя состоялось в то время, когда отечественного читателя интересовали не столько художественные достоинства замятинской прозы, сколько ее идеологическая подоплека. Сейчас, освободившись от стереотипов и клише, мы видим в Замятине именно художника, непревзойденного мастера слова, блестящего стилиста, умеющего соединить яркую образность с ясностью и «прозрачностью» текста, – поистине классика отечественной литературы, писателя с интересной и сложной судьбой.

Евгений Иванович Замятин родился в 1884 году в Лебедяни, маленьком городке недалеко от Тамбова, и первые восемнадцать лет своей жизни провел в русской провинции, том крае, о котором, по словам самого Замятина, писали Толстой и Тургенев. Любовь и восхищение родной природой, «крепчайшим русским языком Лебедяни», конскими ярмарками уживается в нем с критическим отношением к отсталой, косной, неподвижной российской глубинке. В первом крупном произведении Замятина – повести «Уездное» (1913) – изображена именно такая российская глубинка, некое неподвижное «темное царство». Эта повесть принесла Замятину известность и заставила говорить о нем как о крупном мастере слова. Его герой со странным именем Барыба стал воплощением бездуховности, алчности и животных инстинктов. Тема российской глубинки звучит и в других произведениях писателя – повестях «Алатырь», «На ку-

личках», а также в так называемой малой прозе писателя – рассказах «Непутевый», «Чрево», «Старшина», «Кряжи» и других. Позже Замятин покинет провинциальную Русь, не только в жизни, но и в своем творчестве осваивая вместе со своими героями новые пространства – Петербург, Лондон, Джесмонд. Однако на новом витке своего литературного пути писатель вернется в эту знакомую ему с детства настоящую Русь – именно Русь, а не Россию, – с тем чтобы увидеть ее по-новому.

К моменту вступления в большую литературу Замятин имел за плечами значительный жизненный опыт. Получив по окончании Петербургского политехнического института профессию инженера-кораблестроителя, он преподает на кафедре корабельной архитектуры, помещает свои работы в специальных технических журналах. Много позже, в одном из интервью, он так оценит свои достижения: «Шесть томов прозы, шесть пьес и шесть ледоколов», а свою профессию определит как «еретичество». До 1917 года быть еретиком значило быть на стороне большевиков, и Замятин еще студентом участвовал в политических демонстрациях, в 1905 году проводил агитацию среди рабочих на Выборгской стороне. Он неоднократно находился под арестом, его высылали из Петербурга на родину, в Лебедянь. Не менее насыщенной была и творческая жизнь Замятина. Он сблизился с литературной группой «Заветы», в которую входили А. М. Ремизов, М. М. Пришвин и другие известные писатели.

В 1916 году Замятин отправляется в Англию, где работает по специальности, – на судостроительных верфях Глазго, Нью-Кастла, Саус-Шилдса он участвует в строительстве первых русских ледоколов. Англия поразила Замятина своей технической мощью, и все же, как это ни парадоксально, увиденная писателем страна чем-то неуловимо напоминала русскую провинцию. Сходство это проявлялось в боязни движения, свободы, стихии или, в терминах Замятина, в отсутствии «энергии». По сути, замятинская российская глубинка и замятинская Англия – это разные воплощения одного явления – неподвижности, энтропии, в конечном счете – смерти. Итогом пребывания Замятина в Англии стали его «английские» произведения – повесть «Островитяне» (1917) и рассказ «Ловец человеков» (1918). На смену живущему инстинктами русскому Барыбе пришел английский человек-автомат, человек-робот – это и мистер Дьюли, одержимый идеей принудительного спасения своих сограждан, и мистер Краггс, ханжески рассуждающий о добродетели и наживающийся на человеческих «пороках». «Еретик» Замятин так же, как до этого отвергал в «Уездном» растительную жизнь, теперь обличает механизированную, бессмысленную жизнь так называемого цивилизованного человека. Подобно Гоголю, в свое время сопоставившему Коробочку со столичной дамой и сумевшему увидеть в крупном сановнике человека-кулака Собакевича, Замятин выявляет сходные черты в характерах внешне непохожих друг на друга людей. Свое внутреннее родство с

Гоголем Замятин ощущал на протяжении всей своей жизни. Как и его великий предшественник, Замятин переезжает из подарившей ему индивидуальную манеру письма провинции в Петербург. Сказовую манеру письма, ориентированную на воссоздание языковых особенностей жителей провинциальной Руси, сменит иной стиль – своеобразная поэтическая, или орнаментальная, проза, как в свое время пасичник Рудый Панько из «Повестей на хуторе близ Диканьки» уступил место самому автору с его романтически приподнятой речью. Кроме того, следует отметить, что и у Гоголя, и у Замятина сказ и «поэтическая» проза тесно взаимодействуют между собой.

В своей ориентации на гоголевскую традицию Замятин не был одинок. Так, В. Катаев в своеобразных художественных мемуарах – книге «Алмазный мой венец» – вспоминает, сколь популярной в 1920-е годы была идея гофманиады, или гротескного реализма, традиции, идущей в России от Гоголя, сумевшего в свое время перенести завоевания позднего немецкого романтизма, и прежде всего Э. Т. А. Гофмана, на русскую почву. Гоголевское начало без труда прочитывается в произведениях Булгакова, Ильфа и Петрова и многих других. Однако, пожалуй, именно Замятин довел до логического предела многие приемы классика XIX века. В произведениях Замятина гоголевские приемы – гипербола, алогизм, развернутая метафора, а также метонимический перенос, основанный на замещении человека деталью одежды

или вещью, – выступают подчас нарочито, а по мнению многих современников писателя, едва ли не навязчиво.

Гоголевская манера письма в полной мере проявилась в «английских» произведениях Замятина. Герой рассказа «Ловец человеков» мистер Краггс – любитель крабов – сам напоминает краба, о чем свидетельствуют не только его «говорящая» фамилия, но и ряд портретных деталей, в частности его руки-клешни. Однако в то время, когда он преследует и шантажирует влюбленные парочки, он уже похож, скорее, на крысу. А направляющийся в церковь, важно шествующий мистер Краггс превращается в некий чугунный монумент. Миссис Фиц-Джеральд, заботливая мать с выводком похожих друг на друга детей, напоминает индюшку. Конечно, подобный прием уподобления человека животному или вещи заставляет вспомнить гоголевскую галерею помещиков: Ноздрева с его псарней и с его шарманкой – символом непрерывного вранья, Манилова с его трубкой и горками золы, расставленными красивыми рядками на окне, Коробочку, по-птичьи хлопотливую, прячущую по мешочкам полтиннички и целковички. У Замятина, как и у Гоголя, сквозные, или, в терминах Замятина, «интегральные» образы-метафоры, «прошивающие» текст произведения, становятся важнейшим средством выражения авторской позиции.

К Гоголю, очевидно, восходит и замятинская «живопись» – своеобразная импрессионистская манера, основанная на использовании цветовой символики или цветовых опреде-

лителей как персонажей, так и тем, мотивов. Пристрастие к цветописи свойственно многим писателям и поэтам XX века, однако, по мнению символиста Андрея Белого, лишь избранные владеют «цветным» зрением, обостренным восприятием всех красок и оттенков жизни. Подобным талантом, как полагает Белый, из писателей XIX века обладали Гоголь и Толстой. Для Замятина цветовая символика – не частный прием, но подчас едва ли не основной «проводник» авторской идеи и даже средство прояснения конфликта. В романе «Мы» столкновение рационального и иррационального начал бытия подается как противостояние цветов – синего и желтого. В «английском» цикле персонаж часто подается как своеобразный сгусток, вспышка того или иного цвета: с некой леди-яблоко ассоциируется малиновый, с миссис Лори – нежно-розовый, с Диди из «Островитян» – сочетание розового и черного.

«Английские» произведения Замятина не стоят особняком в его творчестве, а позволяют «перекинуть мостик» к более поздним, так называемым петербургским рассказам и роману «Мы». Так в «Островитянах» и «Ловце человеков» явственно проступает скелет будущего романа, в котором отдельные места из дневника героя звучат как цитаты из рассуждений мистера Дьюли, мечтающего о машиноподобном человеке и обществе, живущем по законам машины. По сути, Единое Государство, изображенное в романе, есть воплощенная мечта героя «Островитян». Люди стали машино-

равными, и идеи регламентации, порядка восторжествовали. Даже любовь в этом мире оказалось прирученной, втиснутой в некое расписание. Однако истинная страсть не подчиняется никаким законам – и вспыхивает бунт. Тема бунта взаимодействует с темой любви в большинстве произведений писателя. В «Островитянах» показан бунт Кембла, в «Мы» – инженера Д-503. И в том, и в другом случае события описываются с точки зрения «правоверного» гражданина, который неожиданно перестал следовать принятым в обществе нормам, изменил своей привычной манере поведения. И Кембл, и Д-503, влюбившись, теряют рассудок, перестают управлять собственной судьбой. Заостряя тему неконтролируемой страсти, Замятин использует метафорический образ человека, потерявшего управление над кораблем. Так, Д-503 задается вопросом: «Что со мной? Я потерял руль. Мотор гудит всюду, аэро дрожит и мчится, но руля нет, – и я не знаю, куда мчусь: вниз – и сейчас об землю, или вверх – и в солнце, в огонь...» А у Кембла, преодолевшего первую вспышку любовной страсти, по словам автора, «руль опять в руках, и он твердо правит к маленькому домику с электрическим утюгом».

С темой любви-стихии соотнесены и метафорические образы огня, прожигающего оболочку холодной рассудочности, и прорвавшейся плотины. Следует отметить, что сам по себе образ стихии как воплощения иррациональных начал бытия является типично русским и со времен «Капитан-

ской дочери» А. С. Пушкина связан с темами бунта, мятежа, смуты. Однако Замятин привносит нечто новое в понимание этой поистине философской категории, проводя параллель не только между природными и социальными явлениями, но и между макро– и микрокосмом – Вселенной и человеком. Именно поэтому в произведениях писателя бунт и любовь всегда рядом, и не случайно бунт и любовь составляют нерасторжимое единство в романах последователей Замятина – Дж. Оруэлла и О. Хаксли.

В 1917 году Евгений Замятин возвращается в Петербург. Он – уже признанный мастер слова – выступает с лекциями для начинающих писателей в литературной студии Дома искусств, читает курс новейшей литературы в Педагогическом институте им. Герцена. В это время он сближается с Максимом Горьким, работает в правлении Союза деятелей художественной литературы, в правлении Всероссийского Союза писателей, в комитете Дома литераторов. Вместе с Горьким и другими известными писателями он замысливает грандиозный проект: познакомить нового читателя, советского человека, со всеми знаменитыми произведениями «всех времен и народов». Во время работы в редколлегии издательства «Всемирная литература» он пишет статьи, посвященные творчеству одного из самых своих любимых писателей – Герберта Уэллса, произведения которого, безусловно, оказали влияние на роман «Мы».

Жизнь первых послереволюционных лет отразилась в «петербургских» рассказах «Дракон» (1918), «Пещера» (1920), «Мамай» (1920), в которых Замятин продолжает оттачивать гоголевскую манеру письма. Более того, гоголевскую линию можно проследить не только в творчестве, но и в судьбе писателя. В эти годы Евгений Замятин попадает в призрачный, фантастический Петербург, город, колдовская атмосфера которого открывается прежде всего взору «чужака». Петербургу Замятин посвятит как свои художественные произведения, так и теоретические работы, в частности интереснейшее исследование «Москва – Петербург», в котором осмысливает историю русской культуры в контексте своеобразного противостояния двух столиц. Писатель, естественно, смотрит на город сквозь призму литературной традиции – пушкинской и гоголевской, традиции Достоевского и Андрея Белого, однако не менее важны для него и собственные впечатления. Ведь призрачность, двойственность Петербурга-Петрограда после революции лишь усугубилась. Город, оставшись, казалось бы, прежним, превратился в свою противоположность. Петроград стал антитезой Петербургу, и не случайно многие современники Замятина – Осип Мандельштам, Анна Ахматова, Константин Вагинов – пишут о Петрограде как о мертвом городе, как о страшном зазеркалье.

По сути, замятинский рассказ «Пещера» и держится на этом противопоставлении Петербурга Петрограду. Петер-

бург – это пространство духовности, культуры, прекрасной музыки, любви и счастья. Петроград – выморочный мир, в котором, чтобы выжить, человек должен обрести шерстью, отрастить клыки, сбросить с себя все наслоения культуры. В этом мире выживает сильнейший, а прежняя система эстетических норм теряет свою значимость. В этом мире нет места утонченной, изысканной, теперь «бумажной», почти бестелесной Маше. Неизбежность ее сознательного ухода из жизни понимает и любящий ее человек.

Жестокая послереволюционная действительность показана и в небольшом рассказе «Дракон». Герой рассказа – дракон-красноармеец, безжалостно убивающий «врага» и жалеющий замерзшего воробушка, – в очередной раз заставляет задуматься над загадкой как русской души, так и революции, в которых непостижимым образом сочетаются жажда добра и жестокость, делающая из человека даже не животное, а некое мифическое чудовище, поистине дракона. Однако с драконом ассоциируется не только красноармеец, но и трамвай, в котором он едет. Летящий сквозь ледяное пространство города трамвай – это метафора самого времени, самой революционной эпохи. Образ дракона, причастного к стихиям огня и воды, как нельзя более точно отражает эту «дву-природную» сущность, двуполюсность человека революции и в то же время заставляет задуматься о времени, равнодушно избавляющемся от слабых.

Однако Замятин вовсе не так однозначен в своих оценках,

как казалось многим его современникам, относившим писателя к врагам молодого и неокрепшего государства, полагавшим, что писатель, склонный идеализировать прошлое, видит только негативные начала революции. Если в «Пещере» теме прошлого, упоения прекрасной стариной сопутствует лирическая интонация, то в «Мамае» слышится насмешливо-ироническая нота. «Маленький человек» – священная тема русской литературы XIX века – здесь предстает в своем гротескно-сниженном варианте. Рассказ выявляет трагикомическое несоответствие «маленького человека», поистине человека, великому, переломному моменту истории. Собственно, это несоответствие высвечивается уже самой фамилией героя – Мамай, героя, который, в отличие от Мамаея «1300 какого-то года», мог лишь завоевывать книги. Читатель на протяжении всего рассказа ждет от героя подвига, и тот его совершает – убивает мышь, уничтожившую деньги, которые герой копил на книгу. Несмотря на свои «высокие» духовные запросы, герой не вызывает сочувствия ни у автора, ни у читателя, раскрываясь как трусливое, жалкое, беспомощное существо, но главное – как человек, которому недоступна пьянящая радость неизвестности, которого пугают крутые виражи истории, и потому он ищет спасения в «безопасной» книжной культуре.

Сам же Замятин способен видеть в революционной и послереволюционной действительности как негативные, так и позитивные начала: «Веселая, жуткая зима 17–18 года, ко-

гда все сдвинулось, поплыло в неизвестность». Тема стихии находит свое воплощение в метафорическом образе дома-корабля, присутствующего не в одном произведении писателя. Гоголевский прием развернутой метафоры (дом-корабль, дом-пещера, трамвай-дракон) дополняется в «петербургских» рассказах, как и в «английских» произведениях, цветовой символикой. Собственно, в основе рассказов часто лежит именно зрительный лейтмотив: так, в рассказе «Пещера» настойчиво акцентируется синий цвет как своеобразный цветовой определитель Петербурга.

Замятинские рассказы, в которых не были слышны дидактизмы революции, а была трезвая оценка ее последствий, смутили современников писателя. Отношения с литературной общественностью еще больше обострил роман «Мы» (1921), который при жизни автора не был опубликован в России, но о котором и который слышали многие современники писателя, поскольку Замятин неоднократно выступал с публичными чтениями своего произведения.

Однако широкая читательская аудитория не имела возможности познакомиться с самим произведением, узнавала о нем из критических статей, а по сути пасквилей. До 1988 года роман был лучше известен на Западе, нежели у себя на родине. В 1920-е годы текст дошел до зарубежного читателя благодаря переводу: сначала на чешский, а потом и на английский и французский языки.

Тема бунта человека против тоталитарного режима звучит не только в романе «Мы», но и в пьесе «Огни святого Доминика», опубликованной в 1922 году, но так и не увидевшей свет рампы при жизни автора. Ни один театр не решился поставить пьесу, в которой автор проводит скрытую параллель между средневековой священной инквизицией и современным ему советским государством, претендующим на обладание абсолютной истиной. Между моделируемым в романе «Мы» образом государства будущего и жестоким миром Средневековья, показанным в пьесе, гораздо больше сходства, чем различий. Пьеса «Огни святого Доминика» выступает в творчестве писателя в роли своеобразного авторкомментария к роману, что подтверждает введение к ней, выражающее в открытой, незавуалированной форме основные идеи этих двух произведений, эксплуатирует те же темы, что и роман, – в частности темы искушения, предательства по идейным соображениям. В своих произведениях Замятин переносит в прошлое или будущее сюжеты настоящего и таким образом обнажает надвременную суть происходящего в современном ему мире. Пьеса привлекает внимание к центральному образу всей замятинской художественной вселенной – образу еретика, который для Замятина является глашатаем истины, еще не ставшей каноном, бунтарем, революционером. И для писателя таким бунтарем является не только Галилей, но и Христос. С образом еретика связана и тема художника, творца, звучащая в замятинской версии лесков-

ского «Левши» – пьесе «Блоха» (1925), которая с успехом шла в Московском Художественном театре.

В 1930-е годы нападки на писателя со стороны литературной общественности, и особенно Российской ассоциации пролетарских писателей (РАПП), усилились, что вынудило Замятина обратиться с письмом к Сталину с просьбой о разрешении на выезд из Советской России. В 1931 году, благодаря ходатайству Максима Горького, разрешение было получено, и в 1932 году Евгений Замятин уехал в Париж.

Эмигрантский период творчества писателя сложно назвать продуктивным: надежды на сотрудничество с кинематографом оказались несостоятельными, писатель вынужден был довольствоваться редкими заказами, эмигрантская среда видела в Замятине чужака, его силы подтачивали и болезнь, и тоска по родине. Тем не менее его незаконченный роман «Бич Божий», опубликованный лишь после смерти писателя – в 1938 году, представляет несомненный интерес своими художественными находками, которые можно было бы сопоставить с булгаковскими экспериментами в духе гротескного, или «магического», реализма.

Умер Евгений Замятин в 1937 году в Париже, за гробом писателя шли лишь самые близкие люди. Не только на родине, но и в эмигрантской среде смерть его прошла почти незамеченной.

Первое полное издание романа «Мы» на русском языке

вышло в 1952 году в Нью-Йорке, а в нашей стране сборник избранных произведений писателя увидел свет лишь в 1988 году. Сегодня имя Замятина знакомо каждому образованному человеку, но по-прежнему для многих он лишь основоположник жанра антиутопии, предшественник О. Хаксли, Дж. Оруэлла, Р. Брэдбери, К. Воннегута и других писателей, создающих произведения в жанре антиутопии и научной фантастики. Спору нет, Замятин – у истоков данной традиции, но его художественная палитра включает в себя разные краски, он открывается нам сегодня как писатель и мыслитель, а роман «Мы» сложно ограничить рамками какого-то одного жанра.

В романе, наряду с антиутопической составляющей, отчетливо заявляет о себе авантюрное начало, черты психологического и философского романа, романа любовного и даже производственного. Пожалуй, для самого писателя элементом, объединяющим столь непохожие друг на друга жанры, становится миф. «Мы» Замятина является неомифологическим текстом, то есть относится к тому разряду художественных явлений, корни которых в России лежат в Серебряном веке. Рамки романа-антиутопии, думается, для него слишком узки: утопическая модель, предложенная автором, есть не что иное, как использование форм так называемой вторичной условности, попытка уйти от «быта к бытию». Иными словами, наличие фантастики порождено не столько спецификой жанра утопии или антиутопии, сколько стрем-

лением художника выйти за пределы притяжения действительности и проверить истинность тех или иных идей. Попадая в мир будущего, читатель с интересом следит не столько за внешним сюжетом, позволяющим познакомиться с законами этого мира, с завоеваниями технической и научной мысли, сколько за внутренним конфликтом, основу которого составляет психологический разлад героя.

В романе «Мы» условный, фантастический сюжет обретает «достоверность», поскольку проецируется одновременно на античные мифы, в частности миф о Прометее, библейские сюжеты – об Адаме и Еве, Иисусе Христе, Вавилонской башне, а также «городской» и «математический» мифы, раскрывая общечеловеческое, надвременное в описываемых коллизиях.

Вопрос о том, осознанно или нет автор вводит в роман перечисленные сюжеты, не вызывает сомнений, поскольку большинство из них для облегчения читательского восприятия он, а точнее – его герой-повествователь или иные герои, называет, пересказывает или маркирует посредством слова, которое может восприниматься как подсказка. Так, R-13 вспоминает миф об изгнании из рая, Благодетель – о распятии Иисуса, Д-503 и некий безымянный «государственный поэт» – легенду о Прометее, Д упоминает слово «башня» в различных смысловых контекстах, заставляя воспринимать его как многозначный символ, а в свете библейских мотивов, пронизывающих повествование, как намек на Вавилонскую

башню. В романе упоминаются и имена некоторых художников слова, с которыми связаны «мифы» русской литературы, – Пушкина и Достоевского. Как правило, герой-повествователь ссылается или пересказывает содержание того или иного мифа для прояснения определенных ситуаций, душевного состояния.

Судьба героя романа, видящего в Благодетеле своего Бога и относящегося к законам Единого Государства как к Божьим заповедям, сопоставима с судьбой Адама. Живущий в согласии с собой и Богом, он теряет покой и ждет сурового наказания, когда познает запретный вкус свободы, страсти и знания. Как и его далекий предок, Д после того, как состоялось его моральное падение, выходит за пределы рая и узнает о существовании иного мира (мир за Зеленой Стеной предстает как дикое место вне рая, где грешная пара находит себе убежище). Таким образом, и сюжет, и система персонажей, и их имена, и основные мотивы произведения подсказаны художнику библейским мифом об изгнании из рая. Здесь было бы уместным отметить парадоксальный, но очевидный, как нам представляется, факт: Замятин в своем произведении не выходит за границы системы персонажей библейского мифа. R и D являются двойниками, так же как O и I, чье двойничество в значительной степени предопределяется именно библейским мифом. Иными словами, роман заселен двойниками главного героя, а потому, несмотря на «мы», вынесенное в заглавие, показывает трагедию одного человеческого «я» –

единственного человека – Адама, совершающего преступление против своего Бога, будучи подвигнутым на оное сотворенной из его же ребра Евой. Финал романа открыт, так как не утверждает окончательную победу ни одной из противоборствующих сторон – ни Благодетеля, ни Мефи, ибо, хотя О-90 и покидает город-рай, а естественная жизнь пытается отвоевать у цивилизации пространство, пробивая брешь в Зеленой Стене, велика опасность того, что Единое Государство восстановит и даже упрочит свою власть, не только завладев землей за Зеленой Стеной, но и возобновив свои попытки при помощи «*Интеграла*» покорить космос. Замятин принципиально не расставляет точки над «i», активизируя мысль читателя, побуждая его к сотворчеству. Тем не менее именно библейская модель выражает философскую мысль автора, предрекая победу не восплаемого героем разума, а чувств, естественных желаний и страстей. Восстановив сюжет Ветхого Завета, Замятин утверждает с его помощью крамольные с точки зрения христианской религии истины: для автора романа первородный грех есть не падение, а подъем на новую ступень развития, первый бунт и первая победа человека. Таким образом, несмотря на то что сюжет грехопадения вводится в роман «с ведома» героя-повествователя, проецирующего свою историю на библейский миф, он служит в романе средством выражения прежде всего авторской позиции.

«Мифологическое» прочтение романа позволяет увидеть

дистанцию между автором и героем-повествователем. В беседе с Д-503 Благодетель отождествляет себя с Богом Отцом, посылающим свое любимое дитя на муки. Тем самым задается ракурс восприятия данного эпизода и проливается обратный свет на историю главного героя произведения в целом: Благодетелю и Д отводятся соответственно роли Бога Отца и Бога Сына. Хотя на уровне системы персонажей противником Благодетеля является героиня, именно Мефи отождествляется с самим дьяволом. Название революционной организации есть сокращение одного из имен духа зла. Как и в Книге Истоков, сам дьявол, руководящий действиями змия и, следовательно, Евы, остается за сценой, если и появляясь, то лишь в том или ином обличье. И в разговоре с Д объясняет причины выбора подобного названия мятежной организации: «Нет, подожди, – а „Мефи“? Что такое „Мефи“? – „Мефи“? Это – древнее имя, это – тот, который... Ты помнишь: там, на камне, – изображен юноша... Или нет: я лучше на твоём языке, так ты скорее поймешь. Вот: две силы в мире – энтропия и энергия. Одна – к блаженному покою, к счастливому равновесию; другая – к разрушению равновесия, к мучительно-бесконечному движению. Энтропии – наши или, вернее, – ваши предки, христиане, поклонялись, как Богу. А мы, антихристиане, мы...». Героиня, переводя историю борьбы добра и зла на язык, доступный математику Д, излагает мысли и оперирует терминами, знакомыми читателю по статье Замятина «О литературе, револю-

ции, энтропии и о прочем», очевидно выступая в роли резонера. Данный эпизод концентрированно выражает идею автора, сплетая основные символы романа – «дьявол» и «энергия». Отождествление темных сил с энергией, воспеваемой автором не в одном его произведении, не должно смущать, поскольку, как уже отмечалось выше, понятия добра и зла оказываются обратимыми в произведении, в основе замысла которого лежит принцип иронии. Если библейская модель инвертирована в романе, то и симпатии читателя должны быть на стороне сил зла.

Следует отметить, что именно «мифологический» подход к изучению творчества Евгения Замятина проливает свет на единство его творчества – как литературного, так и литературоведческого, – мифы, организующие роман, упоминаются, разъясняются и даже «дописываются» Замятиным в критических статьях и эссе. Об Адаме и Еве (и «новых» Адаме и Еве) автор пишет в статье «О синтетизме», Вавилонскую башню (как некое здание на песке или воздушный замок) упоминает в контексте рассуждений об эфемерных и грандиозных замыслах – в статье о Блоке и в статье «О синтетизме», доказывающей, что с Вавилонской башней у Замятина также связаны представления о спиралевидном движении человеческой истории («Спираль; винтовая лестница в Вавилонской башне; путь аэро, кругами поднимающегося ввысь, – вот путь искусства. Уравнение движения искусства

– уравнивание спирали»¹).

Используя античные и библейские сюжеты, образы и мотивы мировой литературы по принципу их многократного наложения, пересечения, Замятин создает свой миф о судьбе человечества, о положении современного общества, о духовном и психическом состоянии человека XX века. Именно благодаря подобной многоаспектности замятинского текста роман «Мы» был прочитан критикой и как пророчество, и как антиутопия, сатира на современную цивилизацию, и как философско-психологический роман. И тем не менее очевидно, что именно философско-психологическое содержание романа возводит его в ранг истинно художественного творения, подключая к ряду произведений, в центре которых находится рефлектирующая личность, произведений о взаимоотношениях человека с городом. Замятинский роман, безусловно, продолжает в русской литературе традиции Гоголя и Достоевского. «Фантастический реализм» Замятина, условный сюжет его романа позволяют автору развернуть перед читателем реалистичную картину жизни сознания современного городского жителя. Роман большого города подразумевает сопроникновение, соподчинение внешнего и внутреннего пространств героя. Замятин следует данной традиции, развивая приемы писателей-классиков: в его романе город, в котором преобладает рациональное, а подсознательное полностью подавлено, символизирует психику

¹ Замятин Е. И. О синтетизме//Соч. М.: Книга, 1988. С. 412.

героя-повествователя. Жизнь замятинского города будущего есть метафора жизни сознания Д-503 и – шире – городского жителя XX века.

Город-государство, в котором обитает герой, очевидно, и есть тот цифровой мир, за стену которого он, по словам его друга-поэта, и боится заглянуть. Если Единое Государство с прямыми линиями проспектов и улиц, четкой, отлаженной жизнью – город рации – символизирует жизнь сознания, то мир за Зеленой Стеной, с кривыми поверхностями (не тротуаром, а живой землей), яркими цветами – иррациональное пространство – очевидно, есть метафора подсознания современного человека. Действительно, в тот момент, когда взрывают Зеленую Стену и весь город *сходит с ума*, драма героя достигает своего апогея. Мефи господствует в городе, и в Д проявляется в полной мере иррациональное (духовное, душевное). В романе Замятина подсознательное (иррациональное, то, что, по словам героя, нельзя осмыслить, поскольку это «вне рации») ассоциируется как с жизнью за Зеленой Стеной, так и с прошлым, древним миром. Однако этот древний иррациональный мир находится не только за пределами города, он – в самом его центре, Древнем Доме, куда постоянно приходит герой, и в самом герое, о чем свидетельствуют его волосатые руки, убеждающие, что в жилах Д действительно течет «солнечная», «лесная» кровь, кровь его предков. Символично название *Древнего Дома*, символично и то, что I-330 облачается в нем в *древние* (курсив

мой. — Н. К.) одежды, — сбрасывая юнифу, она надевает короткое платье и длинные чулки. Хрупкий Древний Дом под стеклянной скорлупой оказывается центром города рации, местом, куда вновь и вновь возвращается герой, местом, где состоялось его «грехопадение» — приобщение к миру инстинктов, страсти, иррациональному миру чувств, не подавляемых логикой, к миру свободы. Не случайно герой заявляет, что началась вся эта история в Древнем Доме. Итак, уже городской ландшафт в «Мы» позволяет соотнести роман с мифом о сознании современного человека.

Тщательный отбор автором персонажей — а их не так много для романа — подводит читателя к размышлениям о том, что Замятин ставит перед собой задачу в полном объеме развернуть перед читателем внутренний мир лишь одного человека — главного героя Д-503. Действительно, читатель видит остальных персонажей романа глазами героя-повествователя, и нет ни единого случая интроспекции по отношению к ним. Критики часто упрекают замятинский роман в схематичности образов, становящихся некими знаками идей. Думается, в подобных высказываниях несколько смещены акценты: если О, R, I, Ю и другие и знаки идей, состояний, то не столько для автора, сколько для Д, на точку зрения которого ориентирована поэтика романа в целом. Действительно, автору интересны остальные герои прежде всего в той мере, с какой они раскрывают характер главного героя, его конфликт с миром и собой, служат мотивировкой его внутрен-

него развития. Собственно, всех персонажей романа можно условно отнести к двум группам: первую составляют те из них, что воплощают одни или другие свойства героя, являясь своеобразными его двойниками, как R и I, вторую – Благодетель, Ю, О, необходимые автору для того, чтобы поставить героя перед лицом той или иной «вечной» ситуации, требующей от него самостоятельного выбора. В этой связи уместно еще раз вспомнить слова героя, относящиеся к остальным персонажам романа, – «Все вы мои тени». Конечно, некоторые из персонажей выдвинуты на передний план – это прежде всего I-330 и Благодетель, два полюса, между которыми оказывается главный герой. Благодетель является хозяином города-государства, мира радио, мира с прозрачными стенами, где все «ясно». Восседая на кубе в центре города, он управляет «алгебраическим миром» сознания героя. I-330 открывает герою другой мир – с кривыми поверхностями и непрозрачными стенами – мир подсознания. Ее «царство» – это Древний Дом, где оживает прошлое. Мир I – царство прошлого, мир снов. Героиня выводит Д-503 за пределы рационального мира. Таким образом, борьба Благодетеля и I-330 может расцениваться и как столкновение рациональной и иррациональной составляющих сознания героя, или сознания и более древнего слоя психики – подсознания. Благодетель оберегает Д от влияния I (иными словами, разум героя сопротивляется инстинктам) и в конце концов убивает ее. Практически одновременно со смертью I погибает фан-

тазия, подсознательное в Д – Благодетель и разум одерживают победу. Смерть героини – это и смерть души Д-503.

Друг героя, поэт R-13, также своеобразный двойник героя, его тень. Он обладает качествами, отсутствующими у Д к началу повествования, – чувственностью, иронией, поэтическим, истинно свободным (асимметричным, «неевклидовым») мышлением. R не только не боится заглядывать за стену рационального мира, но, даже живя в городе, отвоевывает для себя иррациональное, неевклидово пространство. Поддаваясь влиянию своей возлюбленной I-330, Д обретает качества, присущие R, – способность «просто так» любить, творческое мышление (Д становится поэтом от математики), даже умение шутить (в первых записях своей «поэмы» герой заявлял, что он шуток не любит и не понимает, после с нескрываемой иронией сравнивает испуганных нумеров, ожидающих катастрофы, с группой Иисусов Навинов). По мере развития сюжета герой движется от полюса Благодетеля к полюсу R и I. Смерть поэта R-13 свидетельствует о смерти поэта в Д-503. Так же как и I-330, R-13 одновременно покидает жизнь города и сознания героя. Из души героя последовательно уходят поэзия (R-13 – поэт), музыка (I-330 – пианистка).

В характерах других персонажей – О, Ю, старухи, охраняющей Древний Дом, – просматривается некая доминанта: желание испытать счастье материнства, истинно женское начало в О; материнский деспотизм в Ю, консьержке, воспри-

нимающей Д как дитя и воспевающей жестокую, карающую любовь; черты бабушки, высшего воплощения материнства, в привратнице

Древнего Дома. Сказанное позволяет утверждать, что каждая из этих героинь так или иначе соотносится с темой материнства, детства и детскости и что за каждой в сознании Д и соответственно романном пространстве закрепляется определенная роль – «жены и матери его ребенка», его «злой» матери, а также истинной, любящей матери (не случайно, думая о неведомой ему матери, герой представляет морщинистые губы старухи привратницы) или доброй бабушки (бабушкой ее называет I-330).

Таким образом, вопреки запретам Единого Государства, герой, по мере того как обретает в себе человека, интуитивно восстанавливает естественные связи между собой и другими людьми: взамен странной семьи, о которой он с восторгом пишет в начале своей поэмы, – любовного треугольника R – O – Д (символично и то, что буквы их «имен» складываются в слово «род»), – он обретает «мать» (старуха у Древнего Дома и Ю), отца (Благодетель ассоциируется с Богом Отцом, посылающим свое дитя на муки), жену (O), ребенка (которого должна родить O) и даже любовницу (I). Следует отметить, что, в отличие от треугольника R – O – Д, в треугольнике Д – O – I узнаем классический любовный треугольник – с ревностью, душевными страданиями людей, его составляющих.

Заостряя тему столкновения рациональных и иррациональных начал бытия, Замятин широко использует цифровую символику. Мучительное рождение души герой связывает с идеей корня квадратного из минус единицы. «Мне чудилось – сквозь какое-то толстое стекло – я вижу: бесконечно огромное и одновременно бесконечно малое, скорпионообразное, со спрятанным и все время чувствуемым минусом-жалом: $\sqrt{-1}$... А может быть, это – не что иное, как моя „душа“, подобно легендарному скорпиону древних, добровольно жалящая себя всем тем, что...» (Однако, как нам известно, корень из минус единицы у героя ассоциируется с I-330. Таким образом, напрашивается параллель I – душа героя.) Душу героя смущают также идеи иррациональности, бесконечности, существование множественных неизвестных. Собственно, противопоставление арифметики и высшей математики есть метафора психологической драмы героя, столкновения его прежнего и приобретенного «я».

Как уже было сказано, не случайно роль героя-повествователя Замятин доверяет математику. Художнику интересно, как в дебрях правоверного сознания зарождается бунт. Именно верность математике, математическому восприятию мира и способу мышления, а отнюдь не отказ от оных, ведет героя-повествователя по пути протеста. Арифметика и высшая математика (Единое Государство и Мефи) борются как на улицах города, так и в пространстве сознания Д-503. Таким образом, психологический конфликт романа не мо-

жет трактоваться как борьба математика и человека в Д, она представлена автором как борьба нумера (боящегося заглянуть за стену «твердого» числового мира) и математика (человека творческого, глубоко понимающего суть жизни и не боящегося собственного знания).

Если конфликт романа (как внешний, так и внутренний) попытаться выразить математически, то это будет история пути Д от «школьной», элементарной математики к математике высшей. Путь от арифметики Единого Государства к мнимым и иррациональным величинам Мефи, от евклидовой к неевклидовой геометрии. Путь от «мы» к «я» (I). Восстановление всех математических способностей Д ведет к пробуждению души ($\sqrt{-1}$). Высшая математика помогает автору и в изображении сложного внешнего мира, и в объяснении психологии его героя. Не только повествователь, но и сам автор – художник и математик – на метафорическом и одновременно «математическом» языке объясняется со своим читателем. «Математика» романа включает в себя как алгебру, так и геометрию, определяющую технику создания образов – как самого города, так и населяющих его граждан. Д-503 предрасположен видеть мир «глазами геометра», а потому часто описывает других людей как геометрические (плоские, подчеркнем) фигуры: окружности (O-90), прямые (I-330), S-образные формы (S-4711). Действительно, лейтмотивами О становятся окружность и синий цвет (ее глаз). Однако если для Д синий – знак принадлежности О к ми-

ру голубых стен и голубых юниф, к миру с «отфильтрованным солнцем» и безоблачным, стерильным небом, один из символов столь любимой героем ясности, а круг символизирует ограниченность, ограничение пугающей бесконечности («Завтра придет ко мне милая О, все будет просто, правильно и ограничено, как круг. Я не боюсь этого слова – „ограниченность“: работа высшего, что есть в человеке, – рассудка – сводится именно к непрерывному ограничению бесконечности...»), то, с точки зрения автора, «круглое» начало в О, подчеркнутое и формой ее тела, и самим именем, думается, призвано заявить о естественности героини – естественности, которая подавляется в Едином Государстве. Окружности, из коих «состоит» героиня, символизируют силу и полноту жизни, всепобеждающее природное начало, ведь, пожалуй, прежде всего уравновешенная, женственная О-90, а не беспокойная революционерка I-330 и не поддающийся напору последней Д-503 побеждает в определенном смысле Единое Государство, выходя за его пределы и, очевидно, там, на свободе, даря жизнь не нумеру, а свободному человеку.

Научному диктату Единого Государства О противопоставляет не умозрительные концепции и основанную на них идеологию, как это делает I-330, а вслед за нею и Д, а естественные человеческие желания, любовь и материнский инстинкт. В воспевающей иррациональные начала бытия I-330, выступающей в роли рупора идей автора, все же велика рассудочность, тогда как О действует и живет, подчиняясь «ир-

рациональным» движениям души. Если знаком О становится круг, то I – прямая или ее часть – отрезок. Так же как и у О, начертание имени повторяет форму тела героини – I, в отличие от О, резкая и прямая: «Направо от меня – она, тонкая, резкая, упрямо-гибкая, как хлыст, I-330 (вижу теперь ее номер); налево – О, совсем другая, вся из окружностей, с детской складочкой на руке...» Думается, сравнение с хлыстом и с прямой подчеркивают волевое и рассудочное начало в I. Протест О так же естествен, как сама жизнь, однако она вынуждена прибегнуть к помощи I.

Таким образом, «геометрический» анализ системы персонажей романа убеждает в том, что Замятин призывает к синтезу разума и чувств, рационального и иррационального. Следует отметить, что с R-13 у героя ассоциируется неевклидова геометрия: «Дальше – в комнате R. Как будто – все точно такое, что и у меня: Скрижаль, стекло кресел, стола, шкафа, кровати. Но чуть только вошел R – двинул одно кресло, другое, – плоскости сместились, все вышло из установленного габарита, стало *неевклидным*» (курсив мой. – Н. К.). R-13 интуитивно сопротивляется миру ratio, где господствует евклидова геометрия, царит симметрия. Более того, поэт R – с его «негрскими» губами, обезьяньей ловкостью, легким нравом и склонностью постоянно шутить – становится в романе своеобразной проекцией Пушкина, поэта с «асимметричным» лицом: «С полочки на стене прямо в лицо мне чуть приметно улыбалась курносая асимметрическая физио-

номия какого-то из древних поэтов (кажется, Пушкина)». Таким образом, иррациональное, асимметрия ассоциируются с поэзией, искусством, подлинной гениальностью, интуицией, свободным творчеством.

Помимо того, что Д-503 имеет взгляд геометра, он мыслит и даже мечтает формулами («Закрывши глаза, я мечтал формулами...» – пишет герой), поэтому наряду с геометрическими фигурами лейтмотивами персонажей становятся математические знаки и символы. Так, с образом I в сознании Д, а соответственно и в пространстве романа, соединяются знаки бесконечности, x и прежде всего корня квадратного из минус единицы. (Сама буква, с которой начинается имя героини, – «I», может восприниматься как сокращенное от *imagine* – «мнимый», то есть мнимая величина, или корень квадратный из минус единицы.) Понятно, что, поскольку I, лидер Мефи, смущает ум героя именно теми математическими концепциями, которые оппозиционная организация противопоставляет элементарной математике Единого Государства, именно с героиней в сознании героя и романном пространстве соединяются соответствующие математические знаки и символы. Тем не менее каждый из приведенных знаков точно отвечает сути натуры I-330, являясь своего рода метафорой ее души – загадочной (x), непостижимой ($\sqrt{-1}$), стремящейся к бесконечному (∞).

У автора, очевидно, своя «математическая» вера, смысл которой заключается отнюдь не в обожествлении каких-то

конкретных научных правил, законов, пусть самых революционных на сегодняшний день, а в убежденности, что математика доказывает относительность, а в пределе – неверность любого закона. Математика для Замятина есть та живая наука, которая наглядно показывает, что жизнь всегда шире любых схем и умозрительных концепций. Художник далек от того, чтобы ставить себе «в божницу» дифференциал, интеграл, мнимые величины и прочие завоевания высшей математики. В своем романе он с их помощью лишь доказывает, что любое знание, кажущееся бесспорным и незыблемым сегодня, будет подвергнуто сомнению и пересмотрено завтра. По Замятину, и наука, и искусство, и жизнь живы еретиками. Примером для писателя был Эйнштейн, перевернувший представления человечества о мире. В статье «О литературе, революции, энтропии и о прочем» Замятин пишет: «Наука и искусство – одинаково в проектировании мира на какие-то координаты. Различные формы – только в различии координат. Все реалистические формы – проектирование на неподвижные, плоские координаты Евклидова мира. В природе этих координат нет, этого ограниченного, неподвижного мира нет, он – условность, абстракция, нереальность. И потому реализм нереален: неизмеримо ближе к реальности проектирование на мчащиеся кривые поверхности – то, что одинаково делают новая математика и новое искусство. Реализм не примитивный, не *realia*, а *realiora* – в сдвиге, в искажении, в кривизне, в необъек-

тивности. Объективен объектив фотографического аппарата»². Ирония Замятина заключается в том, что его герой-повествователь – человек будущего и математик – поклоняется «устаревшей» уже в XX веке математике, проецирует жизнь на неподвижную систему координат. Поэтому «реализм» повествователя, его математический миф, «правдиво» отражающий жизнь, нереален, реален же математический нео-мифологический текст автора, моделирующий, а не копирующий действительность.

Отвечая на вопрос, «как он пишет», а также исследуя особенности творчества чтимых им современников – Андрея Белого, Александра Блока, Федора Сологуба, Евгений Замятин особенно заостряет роль сатиры, лейтмотивного построения, цветовой и звуковой организации текста, звукописи и ритмического рисунка прозы, при этом он доказывает, что основной признак «новой» литературы XX века, отличающий ее от классической романной прозы XIX века, – стремление к постижению *не быта, но бытия*. Основным признаком русского классического реализма Замятин считает ярко выраженное бытописательное начало, или внимание к быту, увиденному «простым глазом» и выписанному до мельчайших подробностей. Характерной особенностью новой русской прозы, к которой Замятин относит и свой роман «Мы», что он неоднократно подчеркивает в своих статьях, является

² Замятин Е. И. О литературе, революции, энтропии и о прочем// Указ. соч. С. 451.

уход «от быта – к бытию, от физики – к философии». Новое искусство изучает, по Замятину, не трехмерный, а по меньшей мере четырехмерный мир, подходит к изучению жизни со «сложным набором стекол» – от микроскопа до телескопа. Оно, как отмечает писатель, есть «синтез, где будет одновременно и микроскоп реализма, и телескопические, уводящие к бесконечностям, стекла символизма»³. Замятин не пытается избавиться от завоеваний реализма XIX века – «тонкой... живописи, быта, психологизма», но стремится к тому, чтобы за бытом, изображенным в его произведениях, просматривалось бытие.

Подобное стремление он отмечает у тех своих современников, которых называет «неореалистами». «Для сегодняшней литературы плоскость быта – то же, что земля для аэроплана: только путь для разбега – чтобы потом вверх – от быта к бытию, к философии, к фантастике. По большакам, по шоссе – пусть скрипят вчерашние телеги. У живых хватает сил, – пишет Замятин, – отрубить свое вчерашнее: в последних рассказах Горького – вдруг фантастика, в „Двенадцати“ Блока – вдруг уличная частушка, в „Жокее“ Белого – вдруг арбатский быт»⁴. Философия и фантастика, таким образом, как следует из слов Замятина, есть способ постижения первооснов мира, человеческой жизни: «Сама жизнь – сегодня перестала быть плоско-реальной: она проектируется

³ Замятин Е. И. Новая русская проза//Указ. соч. С. 433.

⁴ Там же. С. 432.

не на прежние неподвижные, но на динамические системы координат Эйнштейна, революции. В этой новой проекции – сдвинутыми, фантастическими, незнакомо-знакомыми являются самые привычные формулы и вещи. Отсюда – так логична в сегодняшней литературе тяга именно к фантастическому сюжету или к сплаву реальности и фантастики». А «фантастическая» действительность требует новых по сравнению с классическим реализмом способов постижения и изображения: «В наши дни единственная фантастика – это вчерашняя жизнь на прочных китах. <...> Эйнштейном – сорваны с якорей самое пространство и время.

И искусство, выросшее из этой, сегодняшней, реальности – разве может не быть фантастическим, похожим на сон? <...> Отсюда в сегодняшнем искусстве – синтез фантастики с бытом»⁵. Очевидно, что приведенные цитаты из работ Замятина можно воспринимать как ключ к пониманию романа «Мы», как объяснение причин использования в нем фантастического сюжета, утопического элемента. Фантастический сюжет для Замятина не самоцель, а способ воспроизведения характерного в жизни, помогающий подняться над «плоскостью быта», поставить «вечные» вопросы, те самые «мучительные, вечные» вопросы, ответы на которые ищет, по Замятину, вслед за Ф. М. Достоевским Андрей Белый в своих произведениях.

Итак, сами жанровые особенности романа «Мы» являют-

⁵ Замятин Е. И. О синтетизме//Указ. соч. С. 412.

ся следствием преодоления автором «локального историзма». Фантастика, в свою очередь, связана в представлении Замятина с мифами. Вместе с тем нельзя забывать о том, что писатель, как уже отмечалось, стремится продолжать и развивать в своих произведениях традиции русской классической литературы, и прежде всего тонкий психологизм.

В центре романа «Мы», как и в центре произведений многих классиков русской литературы, коих Замятин почитал своими учителями (Н. В. Гоголя и Ф. М. Достоевского), а также Андрея Белого, В. Брюсова, Ф. Сологуба, создающих свои нео-мифологические романы, оказывается большое сознание, или сознание, вышедшее из привычной колеи, психология «преступника», бунтаря, еретика. Изображение героя, переживающего одиночество, умственное исступление, нервное потрясение, предполагает пространные описания снов, видений, галлюцинаций. В «Мы» значительное романное пространство отводится «цветным» снам Д-503, что включает роман в контекст русской психологической прозы XIX-XX веков (сны Раскольникова, бред гоголевского Поприщина, сны сологубовского Передонова, брюсовских Рупрехта и Ренаты). Роман Замятина есть одновременно «история болезни» и «психологический отчет одного преступления».

Как видим, роману «Мы» присущи такие особенности романа-мифа, как обращение к фантастике, интерес к пространству сознания и подсознания героя, ориентация на его

точку зрения, разработанная система лейтмотивов, несущих на себе прежде всего смысловую нагрузку и проясняющих сюжет, авторская ирония, использование языка скрытых и явных цитат из произведений классиков мировой литературы. Своеобразие же романа вызвано тем, что изображается не современность или история, как у Андрея Белого, Ф. Сологуба, В. Брюсова, а моделируемый художником мир будущего. Антиутопия Замятина – одно из воплощений, ярких и своеобразных, романа-мифа, наряду с «Петербургом» Андрея Белого, «Мелким бесом» Ф. Сологуба, «Огненным ангелом» В. Брюсова и – в западной литературе – «Улиссом» Дж. Джойса.

Замятин создает миф о сознании человека большого города, страшный миф о современной цивилизации, которая убивает в человеке поэта. «Мы» – миф о городе-цивилизации, умерщвляющем в человеке душу, жалость, фантазию, страсть, любовь и тоску по матери, отцовские чувства. «Мы» – миф о полной и безоговорочной победе разума над фантазией.

Н. Кольцова

Автобиография

Как дыры, прорезанные в темной, плотно задернутой занавеси, – несколько отдельных секунд из очень раннего детства.

Столовая, накрытый клеенкой стол, и на столе блюдо с чем-то странным, белым, сверкающим, и – чудо! – это белое вдруг исчезает на глазах неизвестно куда. В блюде – кусок еще незнакомой, некомнатной, внешней вселенной: в блюде принесли показать мне снег, и этот удивительный снег – до сих пор.

В этой же столовой. Кто-то держит меня на руках перед окном, за окном – сквозь деревья красный шар солнца, все темнеет, я чувствую: конец, – и страшнее всего, что откуда-то еще не вернулась мать. Потом я узнал, что «кто-то» – моя бабушка и что в эту секунду я был на волос от смерти: мне было года полтора.

Позже: мне года два-три. Первый раз – люди, множество, толпа. Это – в Задонске: отец и мать поехали туда на шарабане и взяли меня с собой. Церковь, голубой дым, пение, огни, по-собачьи лает кликуша, комок в горле. Вот кончилось, прут, меня – щепочку – несет с толпой наружу, вот я уже один в толпе: отца с матерью нет, и их больше никогда не будет, я навсегда один. Сажу на какой-то могиле: солнце, горько плачу. Целый час я жил в мире один.

В Воронеже. Река, необычно странный мне ящик купальни, и в ящике (я потом вспомнил это, когда видел в бассейнах белых медведей) плещется огромное, розовое, тучное, выпуклое женское тело – тетка моей матери. Мне любопытно и чуть жутковато: я в первый раз понимаю, что это женщина.

Я жду у окна, гляжу на пустую, с купающимися в пыли курами, улицу. И наконец едет наш тарантас: везут из гимназии отца; он – на нелепо высоком сиденье, с тростью, поставленной между колен. Я жду с замиранием сердца обеда – за обедом торжественно разворачиваю газету и читаю вслух огромные буквы: «Сын Отечества». Я уже знаю эту таинственную вещь – буквы. Мне года четыре.

Лето. Пахнет лекарствами. Вдруг мать и тетки торопливо захлопывают окна, запирают балкон, и я смотрю, приплюснувшись носом к балконному стеклу: *везут!* Кучер в белом халате, телега, покрытая белым полотном, под полотном – люди, скорченные, шевелящиеся руки и ноги: *холерные*. Холерный барак на нашей улице, рядом с нашим домом. Сердце колотится, я знаю, что такое смерть. Мне лет пять-шесть.

И наконец: легкое, стеклянное, августовское утро, далекий прозрачный звон в монастыре. Я иду мимо палисадника перед нашим домом и не глядя знаю: окно открыто, и на меня смотрят – мать, бабушка, сестра. Потому что я в первый раз облачился в длинные – «на улицу» – брюки, в форменную гимназическую куртку, за спиною ранец: и в первый раз иду в гимназию. Навстречу трясется на своей бочке водовоз

Измашка и несколько раз оглядывается на меня. Я – горд. Я – большой: мне перевалило за восемь.

Все это – среди тамбовских полей, в славной шулерами, цыганами, конскими ярмарками и крепчайшим русским языком Лебедяни – той самой, о какой писали Толстой и Тургенев. А годы: 1884–1893.

Дальше – серая, как гимназическое сукно, гимназия. Изредка в сером – чудесный красный флаг. Красный флаг вывешивался на пожарной каланче и символизировал тогда отнюдь не социальную революцию, а мороз в 20°. Впрочем, это и была однодневная революция в скучной, разграфленной гимназической жизни.

Скептический диогеновский фонарь – в 12 лет. Фонарь был зажжен одним здоровым второклассником и – синий, лиловый, красный – горел у меня под левым глазом целых две недели. Я молился о чуде – о том, чтобы фонарь потух. Чудо не свершилось. Я задумался.

Много одиночества, много книг, очень рано – Достоевский. До сих пор помню дрожь и пылающие свои щеки – от «Неточки Незвановой». Достоевский долго оставался – старший и страшный даже; другом был Гоголь (и гораздо позже – Анатоль Франс).

С 1896 года – гимназия в Воронеже. Специальность моя, о которой все знали: «сочинения» по русскому языку. Специальность, о которой никто не знал: всевозможные опыты

над собой – чтобы «закалить» себя.

Помню: классе в 7-м, весной, меня укусила бешеная собака. Взял какой-то лечебник, прочитал, что первый, обычный срок, когда появляются признаки бешенства, – две недели. И решил выждать этот срок: сбешусь или нет? – чтобы испытать судьбу и себя. Все эти две недели – дневник (единственный в жизни). Через две недели – не сбесился. Пошел, заявил начальству, тотчас же отправили в Москву – делать пастеровские прививки. Опыт мой кончился благополучно. Позже, лет через десять, в белые петербургские ночи, когда сбесился от любви, – проделал над собой опыт посерьезнее, но едва ли умнее.

Из гимназического серого сукна вылез в 1902 году. Золотая медаль за 25 рублей была заложена в петербургском ломбарде – и там осталась.

Помню: последний день, кабинет инспектора (по гимназической табели о рангах – «кобылы»), очки на лбу, подтягивает брюки (брюки у него всегда соскакивали) и подает мне какую-то брошюру. Читаю авторскую надпись: «Моей almae matris, о которой не могу вспомнить ничего, кроме плохого. П. Е. Щеголев». Я инспектор – наставительно, в нос, на о: «Хорошо? Вот тоже кончил у нас с медалью, а что пишет! Вот и в тюрьму попал. Мой совет: не пишите, не идите по этому пути». Наставление не помогло.

Петербург начала 900-х годов – Петербург Комиссаржев-

ской, Леонида Андреева, Витте, Плеве, рысаков в синих сетках, дребезжащих конок с империалами, студентов мундирно-шпажных и студентов в синих косоворотках. Я – студент-политехник косовороточной категории.

В зимнее белое воскресенье на Невском – черно от медленных, чего-то выжидающих толп. Дирижирует Невским – Думская каланча, с дирижера все не спускают глаз. И когда подан знак – один удар, час дня, – на проспекте во все стороны черные человеческие брызги, куски марсельезы, красных знамен, казаки, дворники, городовые... Первая (для меня) демонстрация – 1903 год. И чем ближе к девятьсот пятому – кипенье все лихорадочней, сходки все шумнее.

Летом – практика на заводах, Россия, прибаутливые, веселые третьеклассные вагоны, Севастополь, Нижний, Камские заводы, Одесса, порт, босяки.

Лето 1905 года – особенно синее, пестрое, тугое, доверху набитое людьми и происшествиями. Я – практикантом на пароходе «Россия», плавающем от Одессы до Александрии. Константинополь, мечети, дервиши, базары, бело-мраморная набережная Смирны, бедуины Бейрута, белый Яффский прибой, черно-зеленый Афон, чумный Порт-Саид, желто-белая Африка, Александрия – с английскими полисменами, продавцами крокодиловых чучел, знаменитый Тартуш. Особенный, отдельный от всего, изумительный Иерусалим, где я с неделю жил в семье знакомого араба.

А по возвращении в Одессу – эпопея бунта на «Потемки-

не». С машинистом «России» – смытый, затопленный, опьяненный толпой – бродил в порту весь день и всю ночь, среди выстрелов, пожаров, погромов.

В те годы быть большевиком – значило идти по линии наибольшего сопротивления; и я был тогда большевиком. Была осень 1905 года, забастовки, черный Невский, прорезанный прожектором с Адмиралтейства, 17-е октября, митинги в высших учебных заведениях...

Однажды, в декабре вечером в мою комнату на Ломанском переулке пришел приятель, рабочий, крылоухий Николай В. – с бумажным мешком от филипповских булок, в мешке – пироксилин. «Оставляю-ка я тебе мешочек, а то за мной по пятам шпики ходят». – «Что ж, оставь». И сейчас еще вижу этот мешок: слева, на подоконнике, рядом с кулечком сахара и колбасой.

На другой день – в «штабе» Выборгского района, в тот самый момент, когда на столе были разложены планы, парабеллумы, маузеры, велосоды – полиция: в мышеловке человек тридцать. А в моей комнате слева, на подоконнике – мешок от филипповских булок, под кроватью – листки.

Когда, обысканные и избитые, мы разделены были по группам, я вместе с другими четверым – оказался у окна. У фонаря под окном увидел знакомые лица, улучил момент и в форточку выбросил записочку, чтобы у этих четырех и у меня убрали из комнат все неподобающее. Это было сделано. Но о том я узнал позже, а пока – несколько месяцев в одиночке

на Шпалерной мне снился мешочек от филипповских булок – налево, на подоконнике.

В одиночке – был влюблен, изучал стенографию, английский язык и писал стихи (это неизбежно). Весною девятьсот шестого года освободили и выслали на родину.

Лебедянскую тишину, колокола, палисадники – выдержал недолго: уже летом – без прописки в Петербурге, потом – в Гельсингфорсе. Комната на Эрдхольмсгатан, под окнами – море, скалы. По вечерам, когда чуть видны лица, – митинги на сером граните. Ночью не видно лиц, теплый черный камень кажется мягким – оттого что рядом *она*, и легки, нежны лучи свеаборгских прожекторов.

Однажды в купальне голый товарищ знакомит с голым пузатеньким человечком: пузатенький человечек оказывается знаменитым капитаном красной гвардии – Коком. Еще несколько дней – и красная гвардия под ружьем, на горизонте чуть видные черточки кронштадтской эскадры, фонтаны от взрывающихся в воде двенадцатидюймовок, слабеющее буханье свеаборгских орудий. И я – переодетый, выбритый, в каком-то пенсне – возвращаюсь в Петербург.

Парламент в государстве; маленькие государства в государстве – высшие учебные заведения, и в них свои парламенты: Советы старост. Борьба партий, предвыборная агитация, афиши, памфлеты, речи, урны. Я был членом – одно время председателем – Совета старост.

Повестка: явиться в участок. В участке – зеленый листок:

о розыске «студента университета Евгения Иванова Замятина», на предмет высылки из Петербурга. Честно заявляю, что в университете никогда не был и что в листке, очевидно, ошибка. Помню нос у пристава – крючком, знаком вопроса: «Гм... Придется навести справки». Тем временем я переселяюсь в другой район: там через полгода – снова повестка, зеленый листок, «студент университета», знак вопроса и справки. Так – пять лет, до 1911 года, когда наконец ошибка в зеленом листке была исправлена и меня выдворили из Петербурга.

В 1908 году кончил Политехнический институт по кораблестроительному факультету, был оставлен при кафедре корабельной архитектуры (с 1911 года – преподавателем по этому предмету). Одновременно с листами проекта башенно-палубного судна – на столе у меня лежали листки моего первого рассказа. Отправил его в «Образование», которое редактировал Острогорский; беллетристикой ведал Арцыбашев. Осенью 1908 года рассказ в «Образовании» был напечатан. Когда я встречаюсь сейчас с людьми, которые читали этот рассказ, мне так же неловко, как при встречах с одной моей тетушкой, у которой я, двухлетний, однажды публично промочил платье.

Три следующих года – корабли, корабельная архитектура, логарифмическая линейка, чертежи, постройки, специальные статьи в журналах «Теплоход», «Русское Судостроение»,

«Известия Политехнического Института». Много связанных с работой поездок по России: Волга вплоть до Царицына, Астрахани, Кама, Донецкий район, Каспийское море, Архангельск, Мурман, Кавказ, Крым.

В эти же годы среди чертежей и цифр – несколько рассказов. В печать их не отдавал: в каждом мне еще чувствовалось какое-то «не то». «То» нашлось в 1911 году. В этом году были удивительные белые ночи, было много очень белого и очень темного. И в этом году – высылка, тяжелая болезнь, нервы перетерлись, оборвались. Жил сначала на пустой даче в Сестрорецке, потом, зимою, – в Лахте. Здесь – в снегу, одиночестве, тишине – «Уездное». После «Уездного» – сближение с группой «Заветов», Ремизовым, Пришвиным, Ивановым-Разумником.

В 1913 году (трехсотлетие Романовых) – получил право жить в Петербурге. Теперь из Петербурга выслали врачи. Уехал в Николаев, построил там несколько землечерпалок, несколько рассказов и повесть «На куличках». По напечатании ее в «Заветах» книга журнала была конфискована цензурой, редакция и автор привлечены к суду. Судили незадолго до февральской революции: оправдали.

Зима 1915/16 года – опять какая-то метельная, буйная – кончается дуэльным вызовом в январе, а в марте – отъездом в Англию.

До этого на Западе был только в Германии, Берлин показался конденсированным, 80%-ным Петербургом. В Англии

другое: в Англии все было так же ново и странно, как когда-то в Александрии, в Иерусалиме.

Здесь – сперва железо, машины, чертежи: строил ледоколы в Глазго, Нью-Кастле, Сэндэрланде, Саус-Шилдсе (между прочим, один из наших самых крупных ледоколов – «Ленин»). Немцы сыпали сверху бомбы с цеппелинов и аэропланов. Я писал «Островитян».

Когда в газетах запестрели жирные буквы: «Revolution in Russia», «Abdikation of Russian Tzar» – в Англии стало невмочь, и в сентябре 1917 года на стареньком английском пароходишке (не жалко, если потопят немцы) я вернулся в Россию. Шли до Бергена долго, часов пятьдесят, с потушенными огнями, в спасательных поясах, шлюпки наготове.

Веселая, жуткая зима 17–18 года, когда все сдвинулось, поплыло куда-то в неизвестность. Корабли-дома, выстрелы, обыски, ночные дежурства, домовые клубы. Позже – бес-трамвайные улицы, длинные вереницы людей с мешками, десятки верст в день, буржуйка, селедки, смолотый на кофейной мельнице овес. И рядом с овсом – всяческие всемирные затеи: издать всех классиков всех времен и всех народов, объединить всех деятелей всех искусств, дать на театре всю историю всего мира. Тут уж было не до чертежей – практическая техника засохла и отломилась от меня, как желтый лист (от техники осталось только преподавание в Политехническом институте). И одновременно: чтение курса новейшей русской литературы в Педагогическом институте име-

ни Герцена (1920–1921), курс техники художественной прозы в Студии Дома искусств, работа в Редакционной коллегии «Всемирной литературы», в Правлении Всероссийского союза писателей, в Комитете Дома литераторов, в Совете Дома искусств, в Секции Исторических картин НТО, в издательстве Гржебина «Алконост», «Петрополис», «Мысль», редактирование журналов «Дом Искусств», «Современный Запад», «Русский Современник». Писал в эти годы сравнительно мало; из крупных вещей – роман «Мы», в 1925 году вышедший по-английски, потом – в переводе на другие языки; по-русски этот роман еще не печатался.

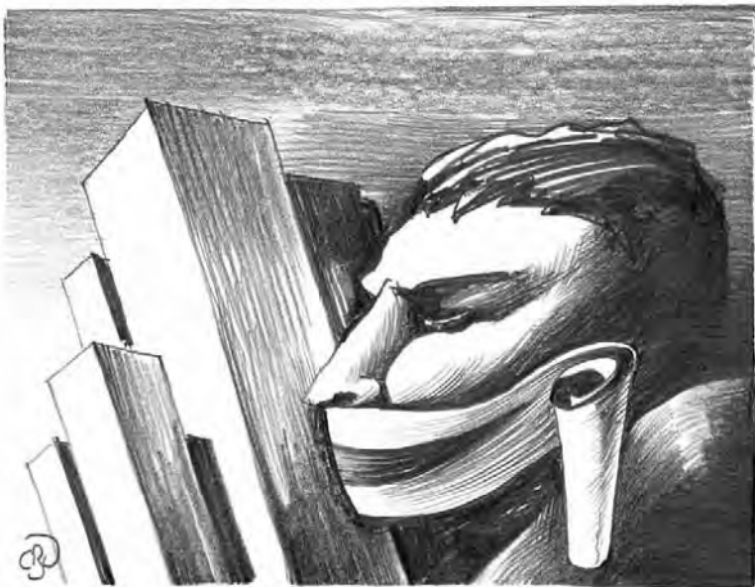
В 1925 году – измена литературе: театр, пьесы «Блоха» и – «Общество Почетных Звонарей». «Блоха» была показана в первый раз в МХАТе 2-м в феврале 1925 года, «Общество Почетных Звонарей» – в б. Михайловском театре в Ленинграде в ноябре 1925 года. Новая пьеса – трагедия «Аттила» – закончена в 1928 году. В «Аттиле» – дошел до стихов. Дальше идти некуда, возвращаюсь к роману, к рассказам.

Думаю, что если бы в 1917 году не вернулся из Англии, если бы все эти годы не прожил вместе с Россией – больше не мог бы писать. Видел много: в Петербурге, в Москве – в захолустье – Тамбовском, в деревне – Вологодской, Псковской, в теплушках.

Так замкнулся круг. Еще не знаю, не вижу, какие кривые в моей жизни дальше.

⟨1928⟩

Мы *Роман*



Запись 1-я.

Конспект:

ОБЪЯВЛЕНИЕ. МУДРЕЙШАЯ ИЗ ЛИНИЙ. ПОЭМА



Я просто списываю – слово в слово – то, что сегодня напечатано в Государственной Газете:

«Через 120 дней заканчивается постройка *ИНТЕГРАЛА*. Близок великий, исторический час, когда первый *ИНТЕГРАЛ* взойдется в мировое пространство. Тысячу лет тому назад ваши героические предки покорили власти Единого Государства весь земной шар. Вам предстоит еще более славный подвиг: стеклянным, электрическим, огнедышащим *ИНТЕГРАЛОМ* проинтегрировать

бесконечное уравнение Вселенной. Вам предстоит благодетельному игу разума подчинить неведомые существа, обитающие на иных планетах – быть может, еще в диком состоянии свободы. Если они не поймут, что мы несем им математически безошибочное счастье, наш долг заставить их быть счастливыми. Но прежде оружия мы испытываем слово.

От имени Благодетеля объявляется всем нумерам Единого Государства:

Всякий, кто чувствует себя в силах, обязан составлять трактаты, поэмы, манифесты, оды или иные сочинения о красоте и величии Единого Государства.

Это будет первый груз, который понесет *ИНТЕГРАЛ*.

Да здравствует Единое Государство, да здравствуют нумера, да здравствует Благодетель!»

Я пишу это – и чувствую: у меня горят щеки. Да: проинтегрировать грандиозное вселенское уравнение. Да: разогнуть дикую кривую, выпрямить ее по касательной – асимптоте – по прямой. Потому что линия Единого Государства – это прямая. Великая, божественная, точная, мудрая прямая – мудрейшая из линий...

Я, Д-503, строитель *Интеграла*, – я только один из математиков Единого Государства. Мое, привычное к цифрам, перо не в силах создать музыки ассонансов и рифм. Я лишь попытаюсь записать то, что вижу, что думаю – точнее, что мы думаем (именно так: мы, и пусть это «МЫ» будет заглавием моих записей). Но ведь это будет производная от на-

шей жизни, от математически совершенной жизни Единого Государства, а если так, то разве это не будет само по себе, помимо моей воли, поэмой? Будет – верю и знаю.

Я пишу это и чувствую: у меня горят щеки. Вероятно, это похоже на то, что испытывает женщина, когда впервые услышит в себе пульс нового – еще крошечного, слепого человечка. Это я и одновременно – не я. И долгие месяцы надо будет питать его своим соком, своей кровью, а потом – с болью оторвать его от себя и положить к ногам Единого Государства.

Но я готов, так же, как каждый, – или почти каждый из нас. Я готов.

Запись 2-я.

Конспект:

БАЛЕТ. КВАДРАТНАЯ ГАРМОНИЯ. ИКС

Весна. Из-за Зеленой Стены, с диких невидимых равнин, ветер несет желтую медовую пыль каких-то цветов. От этой сладкой пыли сохнут губы – ежеминутно проводишь по ним языком – и, должно быть, сладкие губы у всех встречаемых женщин (и мужчин тоже, конечно). Это несколько мешает логически мыслить.

Но зато небо! Синее, не испорченное ни единым облаком (до чего были дики вкусы у древних, если их поэтов могли вдохновлять эти нелепые, безалаберные, глупо толкущиеся кучи пара). Я люблю – уверен, не ошибусь, если скажу: мы любим – только такое вот, стерильное, безукоризненное

небо. В такие дни – весь мир отлит из того же самого незыблемого, вечного стекла, как и Зеленая Стена, как и все наши постройки. В такие дни видишь самую синюю глубь вещей, какие-то неведомые дотоле, изумительные их уравнения – видишь в чем-нибудь таком самом привычном, ежедневном.

Ну, вот хоть бы это. Нынче утром был я на эллинге, где строится *Интеграл*, – и вдруг увидел станки: с закрытыми глазами, самозабвенно, кружились шары регуляторов; мотыли, сверкая, сгибались вправо и влево; гордо покачивал плечами балансир; в такт неслышной музыке приседало долото долбежного станка. Я вдруг увидел всю красоту этого грандиозного машинного балета, залитого легким голубым солнцем.

И дальше – сам с собою: почему – красиво? Почему танец – красив? Ответ: потому что это *не свободное* движение, потому что весь глубокий смысл танца именно в абсолютной, эстетической подчиненности, идеальной несвободе. И если верно, что наши предки отдавались танцу в самые вдохновенные моменты своей жизни (религиозные мистерии, военные парады), то это значит только одно: инстинкт несвободы издревле органически присущ человеку, и мы в теперешней нашей жизни – только сознательно...

Кончить придется после: щелкнул нумератор. Я поднимаю глаза: О-90, конечно. И через полминуты она сама будет здесь: за мной на прогулку.

Милая О! – мне всегда это казалось – что она похожа на

свое имя: сантиметров на 10 ниже Материнской Нормы – и оттого вся кругло обточенная, и розовое О – рот – раскрыт навстречу каждому моему слову. И еще: круглая, пухлая складочка на запястье руки – такие бывают у детей.

Когда она вошла, еще всю во мне гудел логический маховик, и я по инерции заговорил о только что установленной мною формуле, куда входили и мы все, и машины, и танец.

– Чудесно. Не правда ли? – спросил я.

– Да, чудесно. Весна, – розово улыбнулась мне О-90.

Ну вот, не угодно ли: весна... Она – о весне. Женщины... Я замолчал.

Внизу. Проспект полон: в такую погоду послеобеденный личный час мы обычно тратим на дополнительную прогулку. Как всегда, музыкальный завод всеми своими трубами пел Марш Единого Государства. Мерными рядами, по четыре, восторженно отбивая такт, шли номера – сотни, тысячи номеров, в голубоватых юнифах⁶, с золотыми бляхами на груди – государственный номер каждого и каждой. И я – мы, четверо, – одна из бесчисленных волн в этом могучем потоке. Слева от меня О-90 (если бы это писал один из моих волосатых предков лет тысячу назад, – он, вероятно, назвал бы ее этим смешным словом «моя»); справа – два каких-то незнакомых номера, женский и мужской.

Блаженно-синее небо, крошечные детские солнца в каждой из блях, не омраченные безумием мыслей лица... Лучи

⁶ Вероятно, от древнего «Uniforme».

– понимаете: все из какой-то единой, лучистой, улыбающейся материи. А медные такты: «Тра-та-та-там. Тра-та-та-там», эти сверкающие на солнце медные ступени и с каждой ступенью – вы поднимаетесь все выше, в головокружительную синеву...

И вот, так же, как это было утром, на эллинге, я опять увидел, будто только вот сейчас первый раз в жизни – увидел все: непреложные прямые улицы, брызжащее лучами стекло мостовых, божественные параллелепипеды прозрачных жилищ, квадратную гармонию серо-голубых шеренг. И так: будто не целые поколения, а я – именно я – победил старого Бога и старую жизнь, именно я создал все это, и я как башня, я боюсь двинуть локтем, чтобы не посыпались осколки стен, куполов, машин...

А затем мгновение – прыжок через века с + на – . Мне вспомнилась (очевидно, ассоциация по контрасту) – мне вдруг вспомнилась картина в музее: их, тогдашний, двадцатых веков проспект, оглушительно пестрая, путаная толчея людей, колес, животных, афиш, деревьев, красок, птиц... И ведь, говорят, это на самом деле было – это могло быть. Мне показалось это так неправдоподобно, так нелепо, что я не выдержал и расхохотался вдруг.

И тотчас же эхо – смех – справа. Обернулся: в глаза мне – белые – необычайно белые и острые зубы, незнакомое женское лицо.

– Простите, – сказала она, – но вы так вдохновенно все

озирали – как некий мифический бог в седьмой день творения. Мне кажется, вы уверены, что и меня сотворили вы, а не кто иной. Мне очень лестно...

Все это – без улыбки, я бы даже сказал – с некоторой почитительностью (может быть, ей известно, что я – строитель *Интеграла*). Но не знаю – в глазах или бровях – какой-то странный раздражающий икс, и я никак не могу его поймать, дать ему цифровое выражение.



Я почему-то смутился и, слегка путаясь, стал логически мотивировать свой смех. Совершенно ясно, что этот контраст, эта непроходимая пропасть между сегодняшним и тогдашним...

– Но почему же – непроходимая? (Какие белые зубы!) Через пропасть – можно перекинуть мостик...

Вы только представьте себе: барабан, батальоны, шеренги – ведь это тоже было – и, следовательно...

– Ну, да: ясно! – крикнул (это было поразительное пересечение мыслей: она – почти моими же словами – то, что я записывал перед прогулкой). – Понимаете: даже мысли. Это потому, что никто не «один», но «один из». Мы так одинаковы...

Она:

– Вы уверены?

Я увидел острым углом вздернутые к вискам брови – как острые рожки икса, опять почему-то сбился, взглянул направо, налево – и...

Направо от меня – она, тонкая, резкая, упрямо-гибкая, как хлыст, I-330 (вижу теперь ее номер); налево – О, совсем другая, вся из окружностей, с детской складочкой на руке; и с краю нашей четверки – неизвестный мне мужской номер – какой-то дважды изогнутый, вроде буквы S. Мы все были разные...

Эта, справа, I-330, перехватила, по-видимому, мой расте-

ранный взгляд – и со вздохом:

– Да... Увы!

В сущности, это «увы» было совершенно уместно. Но опять что-то такое на лице у ней или в голосе...

Я – с необычайной для меня резкостью – сказал:

– Ничего не «увы». Наука растет, и ясно – если не сейчас, так через пятьдесят, сто лет...

– Даже носы у всех...

– Да, носы, – я уже почти кричал. – Раз есть – все равно какое основание для зависти... Раз у меня нос пуговицей, а у другого...

– Ну, нос-то у вас, пожалуй, даже и «классический», как в старину говорили. А вот руки... Нет, покажите-ка, покажите-ка руки!

Терпеть не могу, когда смотрят на мои руки: все в волосах, лохматые – какой-то нелепый атавизм. Я протянул руку и – по возможности посторонним голосом – сказал:

– Обезьяньи.

Она взглянула на руки, потом на лицо:

– Да это прелюбопытный аккорд. – Она прикидывала меня глазами, как на весах, мелькнули опять рожки в углах бровей.

– Он записан на меня, – радостно-розово открыла рот О-90.

Уж лучше бы молчала – это было совершенно ни к чему. Вообще, эта милая О... как бы сказать... у ней неправильно

рассчитана скорость языка, секундная скорость языка должна быть всегда немного меньше секундной скорости мысли, а уже никак не наоборот.

В конце проспекта, на аккумуляторной башне, колокол гулко бил 17. Личный час кончился. I-330 уходила вместе с тем, S-образным мужским номером. У него такое – внушающее почтение и, теперь вижу, как будто даже знакомое лицо. Где-нибудь встречал его – сейчас не вспомню.

На прощание I – все так же иксово – усмехнулась мне:

– Загляните послезавтра в аудиториум 112.

Я пожал плечами:

– Если у меня будет наряд – именно на тот аудиториум, какой вы назвали...

Она с какой-то непонятной уверенностью:

– Будет.

На меня эта женщина действовала так же неприятно, как случайно затесавшийся в уравнение неразложимый иррациональный член. И я был рад остаться хоть ненадолго вдвоем с милой О.

Об руку с ней мы прошли четыре линии проспектов. На углу ей было направо, мне – налево.

– Я бы так хотела сегодня прийти к вам, опустить шторы. Именно сегодня, сейчас... – робко подняла на меня О круглые, сине-хрустальные глаза.

Смешная. Ну что я мог ей сказать? Она была у меня только вчера и не хуже меня знает, что наш ближайший сексу-

альный день – послезавтра. Это просто все то же самое ее «опережение мысли» – как бывает (иногда вредное) опережение подачи искры в двигателе.

При расставании я два... нет, буду точен: три раза поцеловал чудесные, синие, не испорченные ни одним облачком, глаза.

Запись 3-я.

Конспект:

ПИДЖАК. СТЕНА. СКРИЖАЛЬ

Просмотрел все написанное вчера – и вижу: я писал недостаточно ясно. То есть все это совершенно ясно для любого из нас. Но как знать: быть может, вы, неведомые, кому *Интеграл* принесет мои записки, может быть, вы великую книгу цивилизации дочитали лишь до той страницы, что и наши предки лет 900 назад. Быть может, вы не знаете даже таких азов, как Часовая Скрижаль, Личные Часы, Материнская Норма, Зеленая Стена, Благодетель. Мне смешно – и в то же время очень трудно говорить обо всем этом. Это все равно, как если бы писателю какого-нибудь, скажем 20-го, века в своем романе пришлось объяснять, что такое «пиджак», «квартира», «жена». А впрочем, если его роман переведен для дикарей – разве мыслимо обойтись без примечаний насчет «пиджака»?

Я уверен, дикарь глядел на «пиджак» и думал: «Ну, к чему это? Только обуза». Мне кажется, точь-в-точь так же будете глядеть и вы, когда я скажу вам, что никто из нас со времен

Двухсотлетней Войны не был за Зеленой Стеною.

Но, дорогие, надо же сколько-нибудь думать, это очень помогает. Ведь ясно: вся человеческая история, сколько мы ее знаем, это история перехода от кочевых форм к все более оседлым. Разве не следует отсюда, что наиболее оседлая форма жизни (наша) – есть вместе с тем и наиболее совершенная (наша). Если люди метались по земле из конца в конец, так это только во времена доисторические, когда были нации, войны, торговли, открытия разных америк. Но зачем, кому это теперь нужно?

Я допускаю: привычка к этой оседлости получилась не без труда и не сразу. Когда во время Двухсотлетней Войны все дороги разрушились и заросли травой – первое время, должно быть, казалось очень неудобно жить в городах, отрезанных один от другого зелеными дебрями. Но что же из этого? После того как у человека отвалился хвост, он, вероятно, тоже не сразу научился сгонять мух без помощи хвоста. Он первое время, несомненно, тосковал без хвоста. Но теперь – можете вы себе вообразить, что у вас – хвост? Или: можете вы себя вообразить на улице – голым, без «пиджака» (возможно, что вы еще разгуливаете в «пиджаках»). Вот так же и тут: я не могу себе представить город, не одетый Зеленой Стеною, не могу представить жизнь, не облеченную в цифровые ризы Скрижали.

Скрижаль... Вот сейчас со стены у меня в комнате сурово и нежно в глаза мне глядят ее пурпурные на золотом по-

ле цифры. Невольно вспоминается то, что у древних называлось «иконой», и мне хочется слагать стихи или молитвы (что одно и то же). Ах, зачем я не поэт, чтобы достойно воспеть тебя, о Скрижаль, о сердце и пульс Единого Государства.

Все мы (а может быть, и вы) еще детьми, в школе, читали этот величайший из дошедших до нас памятников древней литературы – «Расписание железных дорог». Но поставьте даже его рядом со Скрижалю – и вы увидите рядом графит и алмаз: в обоих одно и то же – С, углерод, – но как вечен, прозрачен, как сияет алмаз. У кого не захватывает духа, когда вы с грохотом мчитесь по страницам «Расписания». Но Часовая Скрижаль каждого из нас наяву превращает в стального шестиколесного героя великой поэмы. Каждое утро, с шестиколесной точностью, в один и тот же час и в одну и ту же минуту, – мы, миллионы, встаем, как один. В один и тот же час, единомиллионно, начинаем работу – единомиллионно кончаем. И, сливаясь в единое, миллионорукое тело, в одну и ту же, назначенную Скрижалью, секунду, – мы подносим ложки ко рту, – и в одну и ту же секунду выходим на прогулку и идем в аудиториум, в зал Тэйлоровских экзерсисов, отходим ко сну...

Буду вполне откровенен: абсолютно точного решения задачи счастья нет еще и у нас: два раза в день – от 16 до 17 и от 21 до 22 единый мощный организм рассыпается на отдельные клетки: это установленные Скрижалью – Личные

Часы. В эти часы вы увидите: в комнате у одних – целомудренно спущены шторы, другие мерно, по медным ступеням Марша – проходят проспектом, третьи – как я сейчас – за письменным столом. Но я твердо верю – пусть назовут меня идеалистом и фантазером – я верю: раньше или позже – но когда-нибудь и для этих часов мы найдем место в общей формуле, когда-нибудь все 86 400 секунд войдут в Часовую Скрижаль.

Много невероятного мне приходилось читать и слышать о тех временах, когда люди жили еще в свободном, то есть неорганизованном, диком состоянии. Но самым невероятным мне всегда казалось именно это: как тогдашняя – пусть даже зачаточная государственная власть, могла допустить, что люди жили без всякого подобия нашей Скрижали, без обязательных прогулок, без точного урегулирования сроков еды, вставали и ложились спать когда им взбредет в голову; некоторые историки говорят даже, будто в те времена на улицах всю ночь горели огни, всю ночь по улицам ходили и ездили.

Вот этого я никак не могу осмыслить. Ведь как бы ни был ограничен их разум, но все-таки должны же они были понимать, что такая жизнь была самым настоящим поголовным убийством – только медленным, изо дня в день. Государство (гуманность) запрещало убить насмерть одного и не запрещало убивать миллионы наполовину. Убить одного, то есть уменьшить сумму человеческих жизней на 50 лет, – это

преступно, а уменьшить сумму человеческих жизней на 50 миллионов лет – это не преступно. Ну, разве не смешно? У нас эту математически-моральную задачу в полминуты решит любой десятилетний нумер; у них не могли – все их Канты вместе (потому, что ни один из Кантов не догадался построить систему научной этики, то есть основанной на вычитании, сложении, делении, умножении).

А это – разве не абсурд, что государство (оно смело называть себя государством!) могло оставить без всякого контроля сексуальную жизнь. Кто, когда и сколько хотел... Совершенно ненаучно, как звери.

И как звери, вслепую, рожали детей. Не смешно ли: знать садоводство, куроводство, рыбоводство (у нас есть точные данные, что они знали все это) и не суметь дойти до последней ступени этой логической лестницы: детоводства. Не додуматься до наших Материнской и Отцовской Норм.

Так смешно, так неправдоподобно, что вот я написал и боюсь: а вдруг вы, неведомые читатели, сочтете меня за злого шутника. Вдруг подумаете, что я просто хочу поиздеваться над вами и с серьезным видом рассказываю совершеннейшую чушь.

Но первое: я не способен на шутки – во всякую шутку неявной функцией входит ложь; и второе: Единая Государственная Наука утверждает, что жизнь древних была именно такова, а Единая Государственная Наука ошибаться не может. Да и откуда тогда было бы взяться государственной ло-

гике, когда люди жили в состоянии свободы, то есть зверей, обезьян, стада. Чего можно требовать от них, если даже и в наше время – откуда-то со дна, из мохнатых глубин – еще изредка слышно дикое, обезьянье эхо.

К счастью – только изредка. К счастью – это только мелкие аварии деталей: их легко ремонтировать, не останавливая вечного, великого хода всей Машины. И для того чтобы выкинуть вон погнувшийся болт – у нас есть искусная, тяжелая рука Благотетеля, у нас есть опытный глаз Хранителей...

Да, кстати, теперь вспомнил: это вчерашний, дважды изогнутый, как S, – кажется, мне случалось видеть его выходящим из Бюро Хранителей. Теперь понимаю, отчего у меня было это инстинктивное чувство почтения к нему и какая-то неловкость, когда эта странная I при нем... Должен сознаться, что эта I...

Звонят спать: 22.30. До завтра.

Запись 4-я.

Конспект:

ДИКАРЬ С БАРОМЕТРОМ. ЭПИЛЕПСИЯ. ЕСЛИ БЫ

До сих пор мне в жизни было ясно (недаром же у меня, кажется, некоторое пристрастие к этому самому слову «ясно»). А сегодня... Не понимаю.

Первое: я действительно получил наряд быть именно в аудитории 112, как она мне и говорила.

Хотя вероятность была – $\frac{1500}{10\,000\,000} = \frac{3}{20\,000}$

(1500 – это число аудиториумов, 10 000 000 – номеров).
А второе... Впрочем, лучше по порядку.

Аудиториум. Огромный, насквозь просолнеченный полушар из стеклянных массивов. Циркулярные ряды благородно шарообразных, гладко остриженных голов. С легким замиранием сердца я огляделся кругом. Думаю, я искал: не блеснет ли где над голубыми волнами юниф розовый серп – милые губы О. Вот чьи-то необычайно белые и острые зубы, похожие... нет, не то. Нынче вечером, в 21, О придет ко мне – желание увидеть ее здесь было совершенно естественно.

Вот – звонок. Мы встали, спели Гимн Единого Государства – и на эстраде сверкающий золотым громкоговорителем и остроумием фонолатор.

– Уважаемые нумера! Недавно археологи откопали одну книгу 20-го века. В ней иронический автор рассказывает о дикаре и о барометре. Дикарь заметил: всякий раз, как барометр останавливался на «дожде», – действительно шел дождь. И так как дикарю захотелось дождя, то он повыковырял ровно столько ртути, чтобы уровень стал на «дождь» (на экране – дикарь в перьях, выколупывающий ртуть: смех). Вы смеетесь: но не кажется ли вам, что смеха гораздо более достоин европеец той эпохи. Так же, как и дикарь, европеец хотел «дождя», – дождя с прописной буквы, дождя алгебра-

ического. Но он стоял перед барометром мокрой курицей. У дикаря, по крайней мере, было больше смелости и энергии и – пусть дикой – логики: он сумел установить, что есть связь между следствием и причиной. Выковыряв ртуть, он сумел сделать первый шаг на том великом пути, по которому...

Тут (повторяю: я пишу, ничего не утаивая) – тут я на некоторое время стал как бы непромокаемым для живительных потоков, лившихся из громкоговорителей. Мне вдруг показалось, что я пришел сюда напрасно (почему «напрасно» и как я мог не прийти, раз был дан наряд?); мне показалось – все пустое, одна скорлупа. И я с трудом включил внимание только тогда, когда фонолитор перешел уже к основной теме: к нашей музыке, к математической композиции (математик – причина, музыка – следствие), к описанию недавно изобретенного музыкометра.

– ... Просто вращая вот эту ручку, любой из вас производит до трех сонат в час. А с каким трудом давалось это вашим предкам. Они могли творить, только доведя себя до припадков «вдохновения» – неизвестная форма эпилепсии. И вот вам забавнейшая иллюстрация того, что у них получалось, – музыка Скрябина – 20-й век. Этот черный ящик (на эстраде раздвинули занавес и там их древнейший инструмент) – этот ящик они называли «рояльным» или «королевским», что лишний раз доказывает, насколько вся их музыка...

И дальше – я опять не помню, очень возможно, потому

что... Ну, да, скажу прямо: потому что к «рояльному» ящику подошла она – I-330. Вероятно, я был просто поражен этим ее неожиданным появлением на эстраде.

Она была в фантастическом костюме древней эпохи: плотно облегающее черное платье, остро подчеркнуто белое открытых плечей и груди, и эта теплая, колыхающаяся от дыхания тень между... и ослепительные, почти злые зубы...

Улыбка – укус, сюда – вниз. Села, заиграла. Дикое, судорожное, пестрое, как вся тогдашняя их жизнь, – ни тени разумной механичности. И, конечно, они, кругом меня, правы: все смеются. Только немногие... но почему же и я – я?

Да, эпилепсия – душевная болезнь – боль... Медленная, сладкая боль – укус – и чтобы еще глубже, еще больнее. И вот, медленно – солнце. Не наше, не это голубовато-хрустальное и равномерное сквозь стеклянные кирпичи – нет: дикое, несущееся, опаляющее солнце – долой все с себя – все в мелкие клочья.

Сидевший рядом со мной покосился влево – на меня – и хихикнул. Почему-то очень отчетливо запомнилось: я увидел – на губах у него выскочил микроскопический слюнный пузырек и лопнул. Этот пузырек отрезвил меня. Я – снова я.

Как и все – я слышал только нелепую, суетливую трескотню струн. Я смеялся. Стало легко и просто. Талантливый фонолектор слишком живо изобразил нам эту дикую эпоху – вот и все.

С каким наслаждением я слушал затем нашу тепереш-

ную музыку. (Она продемонстрирована была в конце – для контраста.) Хрустальные хроматические ступени сходящихся и расходящихся бесконечных рядов – и суммирующие аккорды формул Тэйлора, Маклорена; целотонные, квадратно-грузные ходы Пифагоровых штанов; грустные мелодии затухающе-колебательного движения; переменяющиеся фраунгоферовыми линиями пауз яркие такты – спектральный анализ планет... Какое величие! Какая незыблемая закономерность! И как жалка своевольная, ничем – кроме диких фантазий – не ограниченная музыка древних.

Как обычно, стройными рядами, по четыре через широкие двери все выходили из аудиториума. Мимо мелькнула знакомая двоякоизогнутая фигура; я почтительно поклонился.

Через час должна прийти милая О. Я чувствовал себя приятно и полезно взволнованным. Дома – скорей в контору, сунул дежурному свой розовый билет и получил удостоверение на право штор. Это право у нас – только для сексуальных дней. А так среди своих прозрачных, как бы сотканых из сверкающего воздуха, стен – мы живем всегда на виду, вечно омываемые светом. Нам нечего скрывать друг от друга. К тому же это облегчает тяжкий и высокий труд Хранителей. Иначе мало ли бы что могло быть. Возможно, что именно странные, непрозрачные обиталища древних породили эту их жалкую клеточную психологию. «Мой (sic!⁷) дом – моя

⁷ Так! (лат.)

крепость» – ведь нужно же было додуматься!

В 21 я опустил шторы – и в ту же минуту вошла немного запыхавшаяся О. Протянула мне свой розовый ротик – и розовый билетик. Я оторвал талон – и не мог оторваться от розового рта до самого последнего момента– 22.15.

Потом показал ей свои «записи» и говорил – кажется, очень хорошо – о красоте квадрата, куба, прямой. Она так очаровательно-розово слушала – и вдруг из синих глаз слеза, другая, третья, – прямо на раскрытую страницу (стр. 7-я). Чернила расплылись. Ну вот, придется переписывать.

– Милый Дэ, если бы только вы – если бы...

Ну что «если бы»? Что «если бы»? Опять ее старая песня: ребенок. Или, может быть, что-нибудь новое – относительно... относительно той? Хотя уж тут как будто... Нет, это было бы слишком нелепо.

Запись 5-я.

Конспект:

КВАДРАТ. ВЛАДЫКИ МИРА.

ПРИЯТНО-ПОЛЕЗНАЯ ФУНКЦИЯ

Опять не то. Опять с вами, неведомый мой читатель, я говорю так, как будто вы... Ну, скажем, старый мой товарищ, R-13, поэт, негрогубый, – ну да все его знают. А между тем вы – на Луне, на Венере, на Марсе, на Меркурии – кто вас знает, где вы и кто.

Вот что: представьте себе – квадрат, живой, прекрасный квадрат. И ему надо рассказать о себе, о своей жизни. Пони-

маете – квадрату меньше всего пришлось бы в голову говорить о том, что у него все четыре угла равны: он этого уже просто не видит – настолько это для него привычно, ежедневно. Вот и я все время в этом квадратном положении. Ну, хоть бы розовые талоны и все с ними связанное: для меня это – равенство четырех углов, но для вас это, может быть, почище, чем бином Ньютона.

Так вот. Какой-то из древних мудрецов, разумеется случайно, сказал умную вещь: «Любовь и голод владеют миром». Ergo⁸: чтобы овладеть миром – человек должен овладеть владыками мира. Наши предки дорогой ценой покорили наконец Голод: я говорю о Великой Двухсотлетней Войне – о войне между городом и деревней. Вероятно, из религиозных предрассудков дикие христиане упрямо держались за свой «хлеб»⁹. Но в 35-м году до основания Единого Государства – была изобретена наша теперешняя нефтяная пища. Правда, выжило только 0,2 населения земного шара. Но зато – очищенное от тысячелетней грязи – каким сияющим стало лицо земли. И зато эти ноль целых и две десятых вкусили блаженство в чертогах Единого Государства.

Но не ясно ли: блаженство и зависть – это числитель и знаменатель дроби, именуемой счастьем. И какой был бы смысл во всех бесчисленных жертвах Двухсотлетней Войны, если

⁸ Следовательно (*лат.*).

⁹ Это слово у нас сохранилось только в виде поэтической метафоры: химический состав этого вещества нам неизвестен.

бы в нашей жизни все-таки еще оставался повод для зависти. А он оставался потому, что оставались носы «пуговицей» и носы «классические» (наш тогдашний разговор на прогулке) потому что любви одних добивались многие, других – никто.

Естественно, что, подчинив себе Голод (алгебраически = сумме внешних благ), Единое Государство повело наступление против другого владыки мира – против Любви. Наконец и эта стихия была тоже побеждена, то есть организована, математизирована, и около 300 лет назад был провозглашен наш исторический «Lex sexualis»: «всякий из номеров имеет право – как на сексуальный продукт – на любой номер».

Ну, дальше – там уж техника. Вас тщательно исследуют в лабораториях Сексуального Бюро, точно определяют содержание половых гормонов в крови – и вырабатывают для вас соответствующий Табель сексуальных дней. Затем вы делаете заявление, что в свои дни желаете пользоваться номером таким-то (или таким-то) и получаете надлежащую талонную книжку (розовую). Вот и все.

Ясно: поводов для зависти – нет уже никаких, знаменатель дробы счастья приведен к нулю – дробь превращается в великолепную бесконечность. И то самое, что для древних было источником бесчисленных глупейших трагедий – у нас приведено к гармонической, приятно-полезной функции организма, так же, как сон, физический труд, прием пищи, дефекация и прочее. Отсюда вы видите, как великая сила логики очищает все, чего бы она ни коснулась. О, если бы и

вы, неведомые, познали эту божественную силу, если бы и вы научились идти за ней до конца.

... Странно: я писал сегодня о высочайших вершинах в человеческой истории, я все время дышал чистейшим горным воздухом мысли, — а внутри как-то облачно, паутинно, и крестом — какой-то четырехлапый икс. Или это — мои лапы, и все оттого, что они были долго у меня перед глазами — мои лохматые лапы. Я не люблю говорить о них — и не люблю их: это след дикой эпохи. Неужели во мне действительно —

Хотел зачеркнуть все это — потому что это выходит из пределов конспекта. Но потом решил: не зачеркну. Пусть мои записи — как тончайший сейсмограф — дадут кривую даже самых незначительных мозговых колебаний: ведь иногда именно такие колебания служат предвестником —

А вот уже абсурд, это уж действительно следовало бы зачеркнуть: нами введены в русло все стихии — никаких катастроф не может быть.

И мне теперь совершенно ясно: странное чувство внутри — все от того же самого моего квадратного положения, о каком я говорил вначале. И не во мне икс (этого не может быть) — просто я боюсь, что какой-нибудь икс останется в вас, неведомые мои читатели. Но я верю — вы не будете слишком строго судить меня. Я верю — вы поймете, что мне так трудно писать, как никогда ни одному автору на протяжении всей человеческой истории: одни писали для современников, другие — для потомков, но никто никогда не писал для предков

или существ, подобных их диким, отдаленным предкам...

Запись 6-я.

Конспект:

СЛУЧАЙ. ПРОКЛЯТОЕ «ЯСНО». 24 ЧАСА

Повторяю: я вменил себе в обязанность писать, ничего не утаивая. Поэтому, как ни грустно, должен отметить здесь, что, очевидно, даже у нас процесс отвердения, кристаллизации жизни еще не закончился, до идеала – еще несколько ступеней. Идеал (это ясно) – там, где уже ничего не случается, а у нас... Вот, не угодно ли: в Государственной Газете сегодня читаю, что на площади Куба через два дня состоится праздник Правосудия. Стало быть, опять какой-то из номеров нарушил ход великой Государственной Машины, опять случилось что-то непредвиденное, непредвычислимое.

И кроме того – нечто случилось со мной. Правда, это было в течение Личного Часа, то есть в течение времени, специально отведенного для непредвиденных обстоятельств, но все же...

Около 16 (точнее, без десяти 16) я был дома. Вдруг – телефон:

– Д-503? – женский голос.

– Да.

– Свободны?

– Да.

– Это я, I-330. Я сейчас залечу за вами, и мы отправимся в Древний Дом. Согласны?

И-330... Эта I меня раздражает, отталкивает – почти пугает. Но именно потому-то я и сказал: да.

Через 5 минут мы были уже на аэро. Синяя майская майолика неба и легкое солнце на своем золотом аэро жужжит следом за нами, не обгоняя и не отставая. Но там, впереди, белеет бельмом облако, нелепое, пухлое – как щеки старинного «купидона» – и это как-то мешает. Переднее окошко поднято, ветер, сохнут губы – поневоле их все время облизываешь и все время думаешь о губах.

Вот уже видны издали мутно-зеленые пятна – там, за Степною. Затем легкое, невольное замирание сердца – вниз, вниз, вниз – как с крутой горы – и мы у Древнего Дома.

Все это странное, хрупкое, слепое сооружение одето кругом в стеклянную скорлупу: иначе оно, конечно, давно бы уже рухнуло. У стеклянной двери – старуха, вся сморщенная – и особенно рот: одни складки, сборки, губы уже ушли внутрь, рот как-то зарос – и было совсем невероятно, чтобы она заговорила. И все же – заговорила.

– Ну, что, милые, домик мой пришли поглядеть? – И морщины засияли (то есть, вероятно, сложились лучеобразно, что и создало впечатление «засияли»).

– Да, бабушка, опять захотелось, – сказала ей I.

Морщинки сияли.

– Солнце-то, а? Ну, что, что? Ах, проказница, ах, проказница! Зна-ю, знаю! Ну ладно: одни идите, я уж лучше тут, на солнце...

Гм... Вероятно, моя спутница – тут частый гость. Мне хочется что-то с себя стряхнуть – мешает: вероятно, все тот же неотвязный зрительный образ: облако на гладкой синей майолике.

Когда поднимались по широкой, темной лестнице, I сказала:

– Люблю я ее – старуху эту.

– За что?

– А не знаю. Может быть – за ее рот. А может быть – ни за что. Просто так.

Я пожал плечами. Она продолжала – улыбаясь чуть-чуть, а может быть, даже совсем не улыбаясь:

– Я чувствую себя очень виноватой. Ясно, что должна быть не «просто-так-любовь», а «потому-что-любовь». Все стихии должны быть...

– Ясно... – начал я – тотчас же поймал себя на этом слове и украдкой заглянул на I: заметила или нет?

Она смотрела куда-то вниз; глаза были опущены – как шторы.

Вспомнилось: вечером, около 22, проходишь по проспекту, и среди ярко освещенных прозрачных клеток – темные с опущенными шторами и там, за шторами – Что у ней там, за шторами? Зачем она сегодня позвонила и зачем все это?

Я открыл тяжелую, скрипучую, непрозрачную дверь – и мы в мрачном, беспорядочном помещении (это называлось у них «квартира»). Тот, самый странный, «королевский» му-

зыкальный инструмент – и дикая, неорганизованная, сумасшедшая – как тогдашняя музыка – пестрота красок и форм. Белая плоскость – вверху; темно-синие стены; красные, зеленые, оранжевые переплеты древних книг; желтая бронза – канделябры, статуя Будды; исковерканные эпилепсией, не укладывающиеся ни в какие уравнения – линии мебели.

Я с трудом выносил этот хаос. Но у моей спутницы был, по-видимому, более крепкий организм.

– Это – самая моя любимая... – и вдруг будто спохватилась – укус-улыбка, белые острые зубы. – Точнее: самая нелепая из всех их «квартир».

– Или, еще точнее: государств, – поправил я. – Тысячи микроскопических, вечно воюющих государств, беспощадных, как...

– Ну да, ясно... – по-видимому, очень серьезно сказала I. Мы прошли через комнату, где стояли маленькие, детские кровати (дети в ту эпоху были тоже частной собственностью). И снова – комнаты, мерцание зеркал, угрюмые шкафы, нестерпимо пестрые диваны, громадный «камин», большая, красного дерева кровать. Наше теперешнее – прекрасное, прозрачное, вечное – стекло было только в виде жалких, хрупких квадратиков-окон.

– И подумать: здесь «просто-так-любили», горели, мучились... (опять опущенная штора глаз). – Какая нелепая, нерасчетливая трата человеческой энергии, – не правда ли?

Она говорила как-то из меня, говорила мои мысли. Но в

улыбке у ней был все время этот раздражающий икс. Там, за шторами, в ней происходило что-то такое – не знаю что, – что выводило меня из терпения; мне хотелось спорить с ней, кричать на нее (именно так), но приходилось соглашаться – не согласиться было нельзя.

Вот – остановились перед зеркалом. В этот момент – я видел только ее глаза. Мне пришла идея: ведь человек устроен так же дико, как эти вот нелепые «квартиры» – человеческие головы непрозрачны, и только крошечные окна внутри: глаза. Она как будто угадала – обернулась. «Ну – вот мои глаза. Ну?» (Это, конечно, молча.)

Передо мною – два жутко-темные окна, и внутри такая неведомая, чужая жизнь. Я видел только огонь – пылает там какой-то свой «камин» – и какие-то фигуры, похожие...

Это, конечно, было естественно: я увидел там отраженным себя. Но было неестественно и непохоже на меня (очевидно, это было удручающее действие обстановки) – я определенно почувствовал страх, почувствовал себя пойманным, посаженным в эту дикую клетку, почувствовал себя захваченным в дикий вихрь древней жизни.

– Знаете что, – сказала I, – выйдите на минуту в соседнюю комнату. – Голос ее был слышен оттуда, изнутри, из-за темных окон глаз, где пылал камин.

Я вышел, сел. С полочки на стене прямо в лицо мне чуть заметно улыбалась курносая асимметрическая физиономия какого-то из древних поэтов (кажется, Пушкина). Оче-

го я сижу вот – и покорно выношу эту улыбку, и зачем все это: зачем я здесь – отчего это нелепое состояние? Эта раздражающая, отталкивающая женщина, странная игра...

Там – стукнула дверь шкафа, шуршал шелк, я с трудом удерживался, чтобы не пойти туда, и – точно не помню: вероятно, хотелось наговорить ей очень резких вещей.

Но она уже вышла. Была в коротком, старинном ярко-желтом платье, черной шляпе, черных чулках. Платье легкого шелка – мне было ясно видно: чулки очень длинные, гораздо выше колен, – и открытая шея, тень между...

– Послушайте, вы, ясно, хотите оригинальничать, но неужели вы...

– Ясно, – перебила I, – быть оригинальным – это значит как-то выделиться среди других. Следовательно, быть оригинальным – это нарушить равенство... И то, что на идиотском языке древних называлось «быть банальным» – у нас значит: только исполнять свой долг. Потому что...

– Да, да, да! Именно. – Я не выдержал. – И вам нечего, нечего...

Она подошла к статуе курносого поэта и, завесив шторой дикий огонь глаз – там, внутри, за своими окнами, – сказала, на этот раз, кажется, совершенно серьезно (может быть, чтобы смягчить меня) – сказала очень разумную вещь:

– Не находите ли вы удивительным, что когда-то люди терпели вот таких вот? И не только терпели – поклонялись им. Какой рабский дух! Не правда ли?

– Ясно... То есть я хотел... (это проклятое «ясно»!).

– Ну да, я понимаю. Но ведь, в сущности, это были владыки посильнее их коронованных. Отчего они не изолировали, не истребили их? У нас...

– Да, у нас... – начал я.

И вдруг она – рассмеялась. Я просто вот видел глазами этот смех: звонкую, крутую, гибко-упругую, как хлыст, кривую этого смеха.

Помню – я весь дрожал. Вот – ее схватить – и уж не помню что... Надо было что-нибудь – все равно что – сделать. Я машинально раскрыл свою золотую бляху, взглянул на часы. Без десяти 17.

– Вы не находите, что уже пора? – сколько мог вежливо сказал я.

– А если бы я вас попросила – остаться здесь со мной?

– Послушайте: вы... вы сознаете, что говорите? Через десять минут я обязан быть в аудитории...

– ... И все нумера обязаны пройти установленный курс искусства и наук... – моим голосом сказала I. Потом отдернула штору – подняла глаза: сквозь темные окна – пылал камин. – В Медицинском Бюро у меня есть один врач – он записан на меня. И если я попрошу – он выдаст вам удостоверение, что вы были больны. Ну?

Я понял. Я наконец понял, куда вела вся эта игра.

– Вот даже как! А вы знаете, что, как всякий честный нумер, я, в сущности, должен немедленно отправиться в Бюро

Хранителей и...

– А не в сущности, – (острая улыбка-укус). – Мне страшно любопытно: пойдете вы в Бюро или нет?

– Вы остаетесь? – Я взялся за ручку двери. Ручка была медная – и я слышал: такой же медный у меня голос.

– Одну минутку... Можно?

Она подошла к телефону. Назвала какой-то номер – я был настолько взволнован, что не запомнил его, – и крикнула:

– Я буду вас ждать в Древнем Доме. Да, да, одна...

Я повернул медную холодную ручку.

– Вы позволите мне взять аэро?

– О, да, конечно! Пожалуйста...

Там, на солнце, у выхода – как растение, дремала старуха. Опять было удивительно, что раскрылся ее заросший наглухо рот и что она заговорила.

– А эта ваша – что же, там одна осталась?

– Одна.

Старухин рот снова зарос. Она покачала головой. По-видимому, даже ее слабеющие мозги понимали всю нелепость и рискованность поведения этой женщины.

Ровно в 17 я был на лекции. И тут почему-то вдруг понял, что сказал старухе неправду: I была там теперь не одна. Может быть, именно это – что я невольно обманул старуху – так мучило меня и мешало слушать. Да, не одна: вот в чем дело.

После 21.30 – у меня был свободный час. Можно было бы уже сегодня пойти в Бюро Хранителей и сделать заявление.

Но я после этой глупой истории так устал. И потом – законный срок для заявления двое суток. Успею завтра: еще целых 24 часа.

Запись 7-я.

Конспект:

РЕСНИЧНЫЙ ВОЛОСОК. ТЭЙЛОР. БЕЛЕНА И ЛАНДЫШ

Ночь. Зеленое, оранжевое, синее; красный королевский инструмент; желтое, как апельсин, платье. Потом – медный Будда; вдруг поднял медные веки – и полился сок: из Будды. И из желтого платья – сок, и по зеркалу капли сока, и сочтется большая кровать, и детские кроватки, и сейчас я сам – и какой-то смертельно сладостный ужас...

Проснулся: умеренный, синеватый свет; блестит стекло стен, стеклянные кресла, стол. Это успокоило, сердце перестало колотиться. Сок, Будда... что за абсурд? Ясно: болен. Раньше я никогда не видел снов. Говорят, у древних это было самое обыкновенное и нормальное – видеть сны. Ну да: ведь и вся жизнь у них была – вот такая ужасная карусель: зеленое – оранжевое – Будда – сок. Но мы-то знаем, что сны – это серьезная психическая болезнь. И я знаю: до сих пор мой мозг был хронометрически выверенным, сверкающим, без единой соринки механизмом, а теперь... Да, теперь именно так: я чувствую там, в мозгу, – какое-то инородное тело – как тончайший ресничный волосок в глазу: всего себя чувствуешь, а вот этот глаз с волоском – нельзя о нем забыть ни на секунду...

Бодрый, хрустальный колокольчик в изголовии: 7, встать. Справа и слева, сквозь стеклянные стены я вижу как бы самого себя, свою комнату, свое платье, свои движения – повторенными тысячу раз. Это бодрит: видишь себя частью огромного, мощного, единого. И такая точная красота: ни одного лишнего жеста, изгиба, поворота.

Да, этот Тэйлор был, несомненно, гениальнейшим из древних. Правда, он не додумался до того, чтобы распространить свой метод на всю жизнь, на каждый шаг, на круглые сутки – он не сумел проинтегрировать своей системы от часу до 24-х. Но все же: как они могли писать целые библиотеки о каком-нибудь там Канте – и едва замечать Тэйлора – этого пророка, сумевшего заглянуть на десять веков вперед.

Кончен завтрак. Стройно пропет Гимн Единого Государства. Стройно, по четыре – к лифтам. Чуть слышное жужжание моторов – и быстро вниз, вниз, вниз – легкое замирание сердца...

И тут вдруг почему-то опять этот нелепый сон – или какая-то неявная функция от этого сна. Ах да, вчера также на аэро – спуск вниз. Впрочем, все это кончено: точка. И очень хорошо, что я был с нею так решителен и резок.

В вагоне подземной дороги я несея туда, где на стапеле сверкало под солнцем еще недвижимое, еще не одухотворенное огнем, изящное тело «*Интеграла*». Закрывши глаза, я мечтал формулами: я еще раз мысленно высчитывал, какая нужна начальная скорость, чтобы оторвать «*Интеграл*» от

земли. Каждый атом секунды – масса «*Интеграла*» меняется (расходуется взрывное топливо). Уравнение получалось очень сложное, с трансцендентными величинами.

Как сквозь сон: здесь, в твердом числовом мире, – кто-то сел рядом со мной, кто-то слегка толкнул, сказал «прости-те».

Я приоткрыл глаза – и сперва (ассоциация от «*Интеграла*») что-то стремительно несущееся в пространство: голова – и она несется, потому что по бокам – оттопыренные розовые крылья-уши. И затем кривая нависшего затылка – сутулая спина – двоякоизогнутое – буква S...

И сквозь стеклянные стены моего алгебраического мира – снова ресничный волосок – что-то неприятное, что я должен сегодня – —

– Ничего, ничего, пожалуйста, – я улыбнулся соседу, раскланялся с ним. На бляхе у него сверкнуло: S-4711 (понятно, почему он с самого первого момента был связан для меня с буквой S: это было не зарегистрированное сознанием зрительное впечатление). И сверкнули глаза – два острых буравчика, быстро вращаясь, ввинчивались все глубже, и вот сейчас довинтятся до самого дна, увидят то, что я даже себе самому...

Вдруг ресничный волосок стал мне совершенно ясен: один из них, из Хранителей, и проще всего, не откладывая, сейчас же сказать ему все.

– Я, видите ли, вчера был в Древнем Доме... – Голос у ме-

ня странный, приплюснутый, плоский – я пробовал откашляться.

– Что же, отлично. Это дает материал для очень поучительных выводов.

– Но, понимаете – был не один, я сопровождал номер I-330, и вот...

– I-330? Рад за вас. Очень интересная, талантливая женщина. У нее много почитателей.

... Но ведь и он – тогда на прогулке – и, может быть, он даже записан на нее? Нет, ему об этом – нельзя, невысказано: это ясно.

– Да, да! Как же, как же! Очень, – я улыбался все шире, нелепей и чувствовал: от этой улыбки я голый, глупый...

Буравчики достали во мне до дна, потом, быстро вращаясь, взвинтились обратно в глаза; S – двояко улыбнулся, кивнул мне, проскользнул к выходу.

Я закрылся газетой (мне казалось – все на меня смотрят) и скоро забыл о ресничном волоске, о буравчиках, обо всем: так взволновало меня прочитанное. Одна короткая строчка: «По достоверным сведениям, вновь обнаружены следы до сих пор неуловимой организации, ставящей себе целью освобождение от благодетельного ига Государства».

«Освобождение»? Изумительно: до чего в человеческой породе живучи преступные инстинкты. Я сознательно говорю: «преступные». Свобода и преступление так же неразрывно связаны между собой, как... ну как движение аэро и

его скорость: скорость аэро = 0, и он не движется; свобода человека = 0, и он не совершает преступлений. Это ясно. Единственное средство избавить человека от преступлений – это избавить его от свободы. И вот едва мы от этого избавились (в космическом масштабе века – это, конечно, «едва»), как вдруг какие-то жалкие недоумки...

Нет, не понимаю: почему я немедленно, вчера же, не отправился в Бюро Хранителей. Сегодня после 16 – иду туда непременно...

В 16.10 вышел – и тотчас же на углу увидел О – всю в розовом восторге от этой встречи. «Вот у нее простой круглый ум. Это кстати: она поймет и поддержит меня...» Впрочем, нет: в поддержке я не нуждался: я решил твердо.

Стройно гремели Марш трубы Музыкального Завода – все тот же ежедневный марш. Какое неизъяснимое очарование в этой ежедневности, повторяемости, зеркальности!

О схватила меня за руку.

– Гулять, – круглые синие глаза мне широко раскрыты – синие окна внутрь, – и я проникаю внутрь, ни за что не зацепляясь: ничего – внутри, то есть ничего постороннего, ненужного.

– Нет, не гулять. Мне надо... – я сказал ей куда.

И, к изумлению своему, увидел: розовый круг рта – сложился в розовый полумесяц, рожками книзу – как от кислого. Меня взорвало.

– Вы, женские нумера, кажется, неизлечимо изъедены

предрассудками. Вы совершенно неспособны мыслить абстрактно. Извините меня – но это просто тупость.

– Вы – идете к шпионам... Фу! А я было достала для вас в Ботаническом Музее веточку ландышей...

– Почему «А я» – почему это «А»? Совершенно по-женски. – Я сердито (сознаюсь) схватил ее ландыши. – Ну, вот он, ваш ландыш, ну? Нюхайте: хорошо, да? Так имейте же логики хоть на столько вот. Ландыш пахнет хорошо: так. Но ведь не можете же вы сказать о запахе, о самом понятии «запах», что это хорошо или плохо? Не можете, ну? Есть запах ландыша – и есть мерзкий запах белены: и то и другое запах. Были шпионы в древнем государстве – и есть шпионы у нас... да, шпионы. Я не боюсь слов. Но ведь ясно же: там шпион – это белена, тут шпион – ландыш. Да, ландыш, да!

Розовый полумесяц дрожал. Сейчас я понимаю: это мне только показалось – но тогда я был уверен, что она засмеется. И я закричал еще громче:

– Да, ландыш. И ничего смешного, ничего смешного.

Круглые, гладкие шары голов плыли мимо – и оборачивались. О ласково взяла меня за руку:

– Вы какой-то сегодня... Вы не больны?

Сон – желтое – Будда... Мне тотчас стало ясно: я должен пойти в Медицинское Бюро.

– Да ведь и правда: я болен, – сказал я очень радостно (тут совершенно необъяснимое противоречие: радоваться было нечему).

– Так вам надо сейчас же идти к врачу. Ведь вы же понимаете: вы обязаны быть здоровым – смешно доказывать вам это.

– Ну, О, милая, – ну конечно же вы правы. Абсолютно правы!

Я не пошел в Бюро Хранителей: делать нечего, пришлось идти в Медицинское Бюро; там меня задержали до 17.

А вечером (впрочем, все равно – вечером там уже было закрыто) – вечером пришла ко мне О. Шторы не были спущены. Мы решали задачи из старинного задачника: это очень успокаивает и очищает мысли. О-90 сидела над тетрадкой, нагнув голову к левому плечу и от старания подпирая изнутри языком левую щеку. Это было так по-детски, так очаровательно. И так во мне все хорошо, точно, просто...

Ушла. Я один. Два раза глубоко вздохнул (это очень полезно перед сном). И вдруг какой-то непредусмотренный запах – и о чем-то таком очень неприятном... Скоро я нашел: у меня в постели была спрятана веточка ландышей. Сразу же все взвихрилось, поднялось со дна. Нет, это было просто бестактно с ее стороны – подкинуть мне эти ландыши. Ну да: я не пошел, да. Но ведь не виноват же я, что болен.

Запись 8-я.

Конспект:

ИРРАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРЕНЬ. R-13. ТРЕУГОЛЬНИК

Это – как давно, в школьные годы, когда со мной случился $\sqrt{-1}$. Так ясно, вырезанно помню: светлый шарозал, сот-

ни мальчишеских круглых голов – и Пляпа, наш математик. Мы прозвали его Пляпой: он был уже изрядно подержанный, разболтанный, и когда дежурный вставлял в него сзади штепсель, то из громкоговорителя всегда сначала: «Пля-пля-пля-тишшш», а потом уже урок. Однажды Пляпа рассказал об иррациональных числах – и, помню, я плакал, бил кулаками об стол и вопил: «Не хочу $\sqrt{-1}$! Выньте из меня $\sqrt{-1}$!» Этот иррациональный корень врос в меня, как что-то чужое, инородное, страшное, он пожирал меня – его нельзя было осмыслить, обезвредить, потому что он был вне ratio.

И вот теперь снова $\sqrt{-1}$. Я пересмотрел свои записи – и мне ясно: я хитрил сам с собой, я лгал себе – только чтобы не увидеть $\sqrt{-1}$. Это все пустяки – что болен и прочее: я мог пойти туда; неделю назад – я знаю, пошел бы, не задумываясь. Почему же теперь... Почему?

Вот и сегодня. Ровно в 16.10 – я стоял перед сверкающей стеклянной стеной. Надо мной – золотое, солнечное, чистое сияние букв на вывеске Бюро. В глубине сквозь стекла длинная очередь голубоватых юниф. Как лампы в древней церкви – теплятся лица: они пришли, чтобы совершить подвиг, они пришли, чтобы предать на алтарь Единого Государства своих любимых, друзей – себя. А я – я рвался к ним, с ними. И не могу: ноги глубоко впаяны в стеклянные плиты – я стоял, смотрел тупо, не в силах двинуться с места...

– Эй, математик, замечтался!

Я вздрогнул. На меня – черные, лакированные смехом

глаза, толстые, негрские губы. Поэт R-13, старый приятель – и с ним розовая О.

Я обернулся сердито (думаю, если бы они не помешали, я бы в конце концов с мясом вырвал из себя $\sqrt{-1}$, я бы вошел в Бюро).

– Не замечтался, а уж если угодно – залюбовался, – довольно резко сказал я.

– Ну да, ну да! Вам бы, милейший, не математиком быть, а поэтом, поэтом, да! Ей-ей, переходите к нам – в поэты, а? Ну, хотите – мигом устрою, а?

R-13 говорит захлебываясь, слова из него так и хлещут, из толстых губ – брызги; каждое «п» – фонтан, «поэты» – фонтан.

– Я служу и буду служить знанию, – нахмурился я: шуток я не люблю и не понимаю, а у R-13 есть дурная привычка шутить.

– Ну что там: знание! Знание ваше это самое – трусость. Да уж чего там: верно. Просто вы хотите стенкой обгородить бесконечное, а за стенку-то и боитесь заглянуть. Да! Выгляните – и глаза зажмурите. Да!

– Стены – это основа всякого человеческого... – начал я.

R – брызнул фонтаном, О – розово, кругло смеялась. Я махнул рукой: смейтесь, все равно. Мне было не до этого. Мне надо было чем-нибудь заесть, заглушить этот проклятый $\sqrt{-1}$.

– Знаете что, – предложил я, – пойдёмте, посидим у меня,

порешаем задачки (вспомнился вчерашний тихий час – может быть, такой будет и сегодня).

О взглянула на R; ясно, кругло взглянула на меня, щеки чуть-чуть окрасились нежным, волнующим цветом наших талонов.

– Но сегодня я... У меня сегодня – талон к нему, – кивнула на R, – а вечером он занят... Так что...

Мокрые, лакированные губы добродушно шлепнули:

– Ну чего там: нам с нею и полчаса хватит. Так ведь, О? До задачек ваших – я не охотник, а просто – пойдём ко мне, посидим.

Мне было жутко остаться с самим собой – или, вернее, с этим новым, чужим мне, у кого только будто по странной случайности был мой номер – Д-503.

И я пошел к нему, к R. Правда, он не точен, не ритмичен, у него какая-то вывороченная, смешливая логика, но все же мы – приятели. Недаром же три года назад мы с ним вместе выбрали эту милую, розовую О. Это связало нас как-то еще крепче, чем школьные годы.

Дальше – в комнате R. Как будто – все точно такое, что и у меня: Скрижаль, стекло кресел, стола, шкафа, кровати. Но чуть только вошел R – двинул одно кресло, другое, – плоскости сместились, все вышло из установленного габарита, стало неевклидным. R – все тот же, все тот же. По Тэйлору и математике – он всегда шел в хвосте.

Вспомнили старого Пляпу: как мы, мальчишки, бывало,

все его стеклянные ноги обклеим благодарственными записочками (мы очень любили Пляпу). Вспомнили Законоучителя¹⁰. Законоучитель у нас был громогласен необычайно – так и дуло ветром из громкоговорителя, – а мы, дети, во весь голос орали за ним тексты. И как отчаянный R-13 напищал ему однажды в рупор жеваной бумаги: что ни текст – то выстрел жеваной бумагой. R, конечно, был наказан, то, что он сделал, было, конечно, скверно, но сейчас мы хохотали – весь наш треугольник, – и, сознаюсь, я тоже.

– А что, если бы он был живой – как у древних, а? Вот бы – «б» – фонтан из толстых, шлепающих губ...

Солнце – сквозь потолок, стены; солнце сверху, с боков, отраженное – снизу. О – на коленях у R-13, и крошечные капельки солнца у ней в синих глазах. Я как-то угрелся, отошел; $\sqrt{-1}$ заглох, не шевелился...

– Ну, а как же ваш «Интеграл»? Планетных-то жителей просвещать скоро полетим, а? Ну, гоните, гоните! А то мы, поэты, столько вам настрочим, что и вашему «Интегралу» не поднять. Каждый день от 8 до 11... – R мотнул головой, почесал в затылке: затылок у него – это какой-то четырехугольный, привязанный сзади чемоданчик (вспомнилась старинная картина – «В карете»).

Я оживился:

– А, вы тоже пишете для «Интеграла»? Ну, а скажите, о

¹⁰ Разумеется, речь идет не о «Законе Божьем» древних, а о законе Единого Государства.

чем? Ну, вот хоть, например, сегодня.

– Сегодня – ни о чем. Другим занят был... – «б» брызнуло прямо в меня.

– Чем другим?

Р сморщился:

– Чем-чем! Ну, если угодно – приговором. Приговор поэтизировал. Один идиот, из наших же поэтов... Два года сидел рядом, как будто ничего. И вдруг – на тебе: «Я, – говорит, – гений, гений – выше закона». И такое наляпал... Ну, да что... Эх!

Толстые губы висели, лак в глазах съело. Р-13 вскочил, повернулся, уставился куда-то сквозь стену. Я смотрел на его крепко запертый чемоданчик и думал: что он сейчас там перебирает – у себя в чемоданчике?

Минута неловкого, асимметричного молчания. Мне было неясно, в чем дело, но тут было что-то.

– К счастью, допотопные времена всевозможных Шекспиров и Достоевских – или как их там – прошли, – нарочно громко сказал я.

Р повернулся лицом. Слова по-прежнему брызгали, хлестали из него, но мне показалось – веселого лака в глазах уже не было.

– Да, милейший математик, к счастью, к счастью, к счастью! Мы – счастливейшее среднее арифметическое... Как это у вас говорится: проинтегрировать от нуля до бесконечности – от кретина до Шекспира... Так!

Не знаю почему – как будто это было совершенно некстати, – мне вспомнилась та, ее тон, протягивалась какая-то тончайшая нить между нею и R. (Какая?) Опять заворочался $\sqrt{-1}$. Я раскрыл бляху: 25 минут 17-го. У них на розовый талон оставалось 45 минут.

– Ну, мне пора... – и я поцеловал О, пожал руку R, пошел к лифту.

На проспекте, уже перейдя на другую сторону, оглянулся: в светлой, насквозь просолнеченной стеклянной глыбе дома – тут, там были серо-голубые, непрозрачные клетки спущенных штор – клетки ритмичного тэйлоризованного счастья. В седьмом этаже я нашел глазами клетку R-13: он уже опустил шторы.

Милая О... Милый R... В нем есть тоже (не знаю, почему «тоже» – но пусть пишется, как пишется) – в нем есть тоже что-то, не совсем мне ясное. И все-таки я, он и О – мы треугольник, пусть даже и неравнобедренный, а все-таки треугольник. Мы, если говорить языком наших предков (быть может, вам, планетные мои читатели, этот язык – понятней), мы – семья. И так хорошо иногда хоть ненадолго отдохнуть, в простой, крепкий треугольник замкнуть себя от всего, что...

Запись 9-я.

Конспект:

ЛИТУРГИЯ. ЯМБЫ И ХОРЕЙ. ЧУГУННАЯ РУКА

Торжественный, светлый день. В такой день забываешь о своих слабостях, неточностях, болезнях – и все хрусталь-

но-неколебимое, вечное – как наше, новое стекло...

Площадь Куба. Шестьдесят шесть мощных концентрических кругов: трибуны. И шестьдесят шесть рядов: тихие светильники лиц, глаза, отражающие сияние небес – или, может быть, сияние Единого Государства. Алые, как кровь, цветы – губы женщин. Нежные гирлянды детских лиц – в первых рядах, близко к месту действия. Углубленная, строгая, готическая тишина.

Судя по дошедшим до нас описаниям, нечто подобное испытывали древние во время своих «богослужений». Но они служили своему нелепому, неведомому Богу – мы служим лепому и точнейшим образом ведомому; их Бог не дал им ничего, кроме вечных, мучительных исканий; их Бог не выдумал ничего умнее, как неизвестно почему принести себя в жертву, – мы же приносим жертву нашему Богу, Единому Государству – спокойную, обдуманную, разумную жертву. Да, это была торжественная литургия Единому Государству, воспоминание о крестных днях-годах Двухсотлетней Войны, величественный праздник победы всех над одним, суммы над единицей...

Вот один – стоял на ступенях налитого солнцем Куба. Белое... и даже нет – не белое, а уж без цвета – стеклянное лицо, стеклянные губы. И только одни глаза, черные, всасывающие, глотающие дыры и тот жуткий мир, от которого он был всего в нескольких минутах. Золотая бляха с номером – уже снята. Руки перевязаны пурпурной лентой (старинный обы-

чай: объяснение, по-видимому, в том, что в древности, когда все это совершалось не во имя Единого Государства, осужденные, понятно, чувствовали себя вправе сопротивляться, и руки у них обычно сковывались цепями).



А наверху, на Кубе, возле Машины – неподвижная, как из металла, фигура того, кого мы именуем Благодетелем. Лица отсюда, снизу, не разобрать: видно только, что оно ограничено строгими, величественными, квадратными очертаниями. Но зато руки... Так иногда бывает на фотографических снимках: слишком близко, на первом плане, поставленные руки – выходят огромными, приковывают взор – заслоняют собою все. Эти тяжкие, пока еще спокойно лежащие на коленях руки – ясно: они – каменные, и колени – еле выдерживают их вес...

И вдруг одна из этих громадных рук медленно поднялась – медленный, чугунный жест – и с трибун, повинувшись поднятой руке, подошел к Кубу нумер. Это был один из Государственных Поэтов, на долю которого выпал счастливый жребий – увенчать праздник своими стихами. И загремели над трибунами божественные медные ямбы – о том, безумном, со стеклянными глазами, что стоял там, на ступенях, и ждал логического следствия своих безумств.

... Пожар. В ямбах качаются дома, взбрызгивают вверх жидким золотом, рухнули. Корчатся зеленые деревья, каплет сок – уж одни черные кресты скелетов. Но явился Прометей (это, конечно, мы) —

И впряг огонь в машину, сталь,
И хаос заковал законом.

Все новое, стальное: стальное солнце, стальные деревья, стальные люди. Вдруг какой-то безумец – «огонь с цепи спустил на волю» – и опять все гибнет...

У меня, к сожалению, плохая память на стихи, но одно я помню: нельзя было выбрать более поучительных и прекрасных образов.

Снова медленный, тяжелый жест – и на ступеньках Куба второй поэт. Я даже привстал: быть не может? Нет: его толстые, негрские губы, это он... Отчего же он не сказал заранее, что ему предстоит высокое... Губы у него трясутся, серые. Я понимаю: пред лицом Благодетеля, пред лицом всего сонма Хранителей – но все же: так волноваться...

Резкие, быстрые – острым топором – хорей. О неслыханном преступлении: о кощунственных стихах, где Благодетель именовался... нет, у меня не поднимается рука повторить.

R-13, бледный, ни на кого не глядя (не ждал от него этой застенчивости), – спустился, сел. На один мельчайший дифференциал секунды мне мелькнуло рядом с ним чье-то лицо – острый, черный треугольник – и тотчас же стерлось: мои глаза – тысячи глаз – туда, наверх, к Машине. Там – третий чугунный жест нечеловеческой руки. И, колеблемый невидимым ветром, – преступник идет, медленно, ступень – еще – и вот шаг, последний в его жизни – и он лицом к небу, с запрокинутой назад головой – на последнем своем ложе.

Тяжкий, каменный, как судьба, Благодетель обошел Машину кругом, положил на рычаг огромную руку... Ни шороха, ни дыхания: все глаза – на этой руке. Какой это, должно быть, огненный, захватывающий вихрь – быть орудием, быть равнодействующей сотен тысяч вольт. Какой великий удел!

Неизмеримая секунда. Рука, включая ток, опустилась. Сверкнуло нестерпимо острое лезвие луча – как дрожь, еле слышный треск в трубках Машины. Распростертое тело – все в легкой, светящейся дымке – и вот на глазах тает, тает, растворяется с ужасающей быстротой. И – ничего: только лужа химически чистой воды, еще минуту назад буйно и красно бившая в сердце...

Все это было просто, все это знал каждый из нас: да, диссоциация материи, да, расщепление атомов человеческого тела. И тем не менее это всякий раз было – как чудо, это было – как знамение нечеловеческой мощи Благодетеля.

Наверху, перед Ним – разгоревшиеся лица десяти женских нумеров, полуоткрытые от волнения губы, колеблемые ветром цветы¹¹.

По старому обычаю – десять женщин увенчивали цветами еще не высохшую от брызг юнифу Благодетеля. Величественным шагом первосвященника Он медленно спускается вниз, медленно проходит между трибун – и вслед Ему под-

¹¹ Конечно, из Ботанического Музея. Я лично не вижу в цветах ничего красивого – как и во всем, что принадлежит к дикому миру, давно изгнанному за Зеленую Стену. Красиво только разумное и полезное: машины, сапоги, формулы, пища и проч.

нятые вверх нежные белые ветви женских рук и единомиллионная буря кликов. И затем такие же клики в честь сонма Хранителей, незримо присутствующих где-то здесь же, в наших рядах. Кто знает: может быть, именно их, Хранителей, провидела фантазия древнего человека, создавая своих нежно-грозных «архангелов», приставленных от рождения к каждому человеку.

Да, что-то от древних религий, что-то очищающее, как гроза и буря, – было во всем торжестве. Вы, кому придется читать это, – знакомы ли вам такие минуты? Мне жаль вас, если вы их не знаете...

Запись 10-я.

Конспект:

ПИСЬМО. МЕМБРАНА. ЛОХМАТЫЙ Я

Вчерашний день был для меня той самой бумагой, через которую химики фильтруют свои растворы: все взвешенные частицы, все лишнее остается на этой бумаге. И утром я спустился вниз начисто отдистиллированный, прозрачный.

Внизу, в вестибюле, за столиком, контролерша, поглядывая на часы, записывала номера входящих. Ее имя – Ю... Впрочем, лучше не назову ее цифр, потому что боюсь, как бы не написать о ней чего-нибудь плохого. Хотя, в сущности, это – очень почтенная пожилая женщина. Единственное, что мне в ней не нравится, – это то, что щеки у ней несколько обвисли, как рыбы жабры (казалось бы: что тут такого?).

Она скрипнула пером, я увидел себя на странице: «Д-503»

– и – рядом клякса.

Только что я хотел обратить на это ее внимание, как вдруг она подняла голову – и капнула в меня чернильной этакой улыбочкой:

– А вот письмо. Да. Получите, дорогой – да, да, получите.

Я знал: прочтенное ею письмо – должно еще пройти через Бюро Хранителей (думаю, излишне объяснять этот естественный порядок) и не позже 12 будет у меня. Но я был смущен этой самой улыбочкой, чернильная капля замутила мой прозрачный раствор. Настолько, что позже на постройке «*Интеграла*» я никак не мог сосредоточиться – и даже однажды ошибся в вычислениях, чего со мной никогда не бывало.

В 12 часов – опять розовато-коричневые рыбки жабры, улыбочка – и наконец письмо у меня в руках. Не зная почему, я не прочел его здесь же, а сунул в карман – и скорее к себе в комнату. Развернул, пробежал глазами и – сел... Это было официальное извещение, что на меня записался номер I-330 и что сегодня в 21 я должен явиться к ней – внизу адрес...

Нет: после всего, что было, после того как я настолько недвусмысленно показал свое отношение к ней. Вдобавок, ведь она даже не знала: был ли я в Бюро Хранителей, – ведь ей неоткуда было узнать, что я был болен, – ну, вообще не мог... И несмотря на все – —

В голове у меня крутилась, гудела динамо. Будда – желтое

– ландыши – розовый полумесяц... Да, и вот это – и вот это еще: сегодня хотела ко мне зайти О. Показать ей это извещение – относительно I-330? Я не знаю: она не поверит (да и как, в самом деле, поверить?), что я здесь ни при чем, что я совершенно... И знаю: будет трудный, нелепый, абсолютно нелогичный разговор... Нет, только не это. Пусть все решится механически: просто пошлю ей копию с извещения.

Я торопливо засовывал извещение в карман – и увидел эту свою ужасную, обезьянью руку. Вспомнилось, как она, I, тогда на прогулке взяла мою руку, смотрела на нее. Неужели она действительно...

И вот без четверти 21. Белая ночь. Все зеленовато-стеклянное. Но это какое-то другое, хрупкое стекло – не наше, не настоящее, это – тонкая стеклянная скорлупа, а под скорлупой крутится, несется, гудит... И я не удивлюсь, если сейчас круглыми медленными дымами подымутся вверх купола аудиториумов, и пожилая луна улыбнется чернильно – как та, за столиком нынче утром, и во всех домах сразу опустятся все шторы, и за шторами – —

Странное ощущение: я чувствовал ребра – это какие-то железные прутья и мешают – положительно мешают сердцу, тесно, не хватает места. Я стоял у стеклянной двери с золотыми цифрами: I-330. I, спиной ко мне, над столом, что-то писала. Я вошел...

– Вот... – протянул я ей розовый билет. – Я получил сегодня извещение и явился.

– Как вы аккуратны! Минутку – можно? Присядьте, я только кончу.

Опять опустила глаза в письмо – и что там у ней внутри за опущенными шторами? Что она скажет – что сделает через секунду? Как это узнать, вычислить, когда вся она – оттуда, из дикой, древней страны снов.

Я молча смотрел на нее. Ребра – железные прутья, тесно... Когда она говорит – лицо у ней как быстрое, сверкающее колесо: не разглядеть отдельных спиц. Но сейчас колесо – неподвижно. И я увидел странное сочетание: высоко вздернутые у висков темные брови – насмешливый острый треугольник, обращенный вершиною вверх, – две глубокие морщинки, от носа к углам рта. И эти два треугольника как-то противоречили один другому, клали на все лицо этот неприятный, раздражающий X – как крест: перечеркнутое крестом лицо.

Колесо завертелось, спицы слились...

– А ведь вы не были в Бюро Хранителей?

– Я был... Я не мог: я был болен.

– Да. Ну я так и думала: что-нибудь вам должно было помешать – все равно что (острые зубы, улыбка). Но зато теперь вы – в моих руках. Вы помните:

«Всякий номер, в течение 48 часов не заявивший в Бюро, считается...»

Сердце стукнуло так, что прутья согнулись. Как мальчишка, – глупо, как мальчишка, попался, глупо молчал. И чув-

ствовал: запутался – ни рукой, ни ногой...

Она встала, потянулась лениво. Надавила кнопку, с легким треском упали со всех сторон шторы. Я был отрезан от мира – вдвоем с ней.

И была где-то там у меня за спиной, возле шкафа. Юнифы шуршала, падала – я слушал – весь слушал. И вспомнилось... нет: сверкнуло в одну сотую секунды...

Мне пришлось недавно исчислить кривизну уличной мембраны нового типа (теперь эти мембраны, изящно задекорированные, на всех проспектах записывают для Бюро Хранителей уличные разговоры). И помню: вогнутая, розовая трепещущая перепонка – странное существо, состоящее только из одного органа – уха. Я был сейчас такой мембраной.

Вот теперь щелкнула кнопка у ворота – на груди – еще ниже. Стекланный шелк шуршит по плечам, коленам – по полу. Я слышу – и это еще яснее, чем видеть, – из голубовато-серой шелковой груди вышагнула одна нога и другая...

Туго натянутая мембрана дрожит и записывает тишину. Нет: резкие, с бесконечными паузами – удары молота о прутья. И я слышу – я вижу: она, сзади, думает секунду.

Вот – двери шкафа, вот – стукнула какая-то крышка – и снова шелк, шелк...

– Ну, пожалуйста.

Я обернулся. Она была в легком, шафранно-желтом, древнего образца платье. Это было в тысячу раз злее, чем если бы она была без всего. Две острые точки – сквозь тонкую ткань,

тлеющие розовым – два угля сквозь пепел. Два нежно-круглых колена...

Она сидела в низеньком кресле. На четырехугольном столике перед ней – флакон с чем-то ядовито-зеленым, два крошечных стаканчика на ножках. В углу рта у нее дымилось – в тончайшей бумажной трубочке это древнее курение (как называется – сейчас забыл).

Мембрана все еще дрожала. Молот бил там – внутри у меня – в накаленные докрасна прутья. Я отчетливо слышал каждый удар и... и вдруг она это тоже слышит?

Но она спокойно дымила, спокойно поглядывала на меня и небрежно стряхнула пепел – на мой розовый билетик.

Как можно хладнокровнее – я спросил:

– Послушайте, в таком случае – зачем же вы записались на меня? И зачем заставили меня прийти сюда?

Будто и не слышит. Налила из флакона в стаканчик, отхлебнула.

– Прелестный ликер. Хотите?

Тут только я понял: алкоголь. Молнией мелькнуло вчерашнее: каменная рука Благодетеля, нестерпимое лезвие луча, но там: на Кубе – это вот, с закинутой головой, распростертое тело. Я вздрогнул.

– Слушайте, – сказал я, – ведь вы же знаете: всех отравляющих себя никотином и особенно алкоголем – Единое Государство беспощадно...

Темные брови – высоко к вискам, острый насмешливый

треугольник:

– Быстро уничтожить немногих – разумней, чем дать возможность многим губить себя – и вырождение – и так далее. Это – до непристойности верно.

– Да... до непристойности.

– Да компанийку вот таких вот лысых, голых истин – выпустить на улицу... Нет, вы представьте себе... ну, хоть этого неизменнейшего моего обожателя – ну, да вы его знаете, – представьте, что он сбросил с себя всю эту ложь одежд – и в истинном виде среди публики... Ох!

Она смеялась. Но мне ясно был виден ее нижний скорбный треугольник: две глубоких складки от углов рта к носу. И почему-то от этих складок мне стало ясно: тот, двоякоизогнутый, сутулый и крылоухий – обнимал ее – такую... Он...

Впрочем, сейчас я стараюсь передать тогдашние свои – ненормальные – ощущения. Теперь, когда я это пишу, я сознаю прекрасно: все это так и должно быть, и он, как всякий честный нумер, имеет равное право на радости – и было бы несправедливо... Ну, да это ясно.

И смеялась очень странно и долго. Потом пристально посмотрела на меня – внутрь:

– А главное – я с вами совершенно спокойна. Вы такой милый – о, я уверена в этом, – вы и не подумаете пойти в Бюро и сообщить, что вот я – пью ликер, я – курю. Вы будете больны – или вы будете заняты – или уж не знаю что. Больше: я уверена – вы сейчас будете пить со мной этот очарова-

тельный яд...

Какой наглый, издевающийся тон. Я определенно чувствовал: сейчас опять ненавижу ее. Впрочем, почему «сейчас»? Я ненавидел ее все время.

Опрокинула в рот весь стаканчик зеленого яду, встала и, просвечивая сквозь шафрановое розовым, – сделала несколько шагов – остановилась сзади моего кресла...

Вдруг – рука вокруг моей шеи – губами в губы...

нет, куда-то еще глубже, еще страшнее... Клянусь, это было совершенно неожиданно для меня, и, может быть, только потому... Ведь не мог же я – сейчас я это понимаю совершенно отчетливо, – не мог же я сам хотеть того, что потом случилось.

Нестерпимо-сладкие губы (я полагаю – это был вкус «ликера»), – и в меня влит глоток жгучего яда – и еще – и еще... Я отстегнулся от земли и самостоятельной планетой, неистово вращаясь, понесся вниз, вниз – по какой-то невычисленной орбите...

Дальнейшее я могу описать только приблизительно, только путем более или менее близких аналогий.

Раньше мне это как-то никогда не приходило в голову – но ведь это именно так: мы, на земле, все время ходим над kloкочущим, багровым морем огня, скрытого там – в чреве земли. Но никогда не думаем об этом. И вот вдруг бы тонкая скорлупа у нас под ногами стала стеклянной, вдруг бы мы увидели...

Я стал стеклянным. Я увидел – в себе, внутри.

Было два меня. Один я – прежний, Д-503, номер Д-503, а другой... Раньше он только чуть высовывал свои лохматые лапы из скорлупы, а теперь вылезал весь, скорлупа трещала, вот сейчас разлетится в куски и... и что тогда?

Изо всех сил ухватившись за соломинку – за ручки кресла, – я спросил, чтобы услышать себя – того, прежнего:

– Где... где вы достали этот... этот яд?

– О, это! Просто один медик, один из моих...

– «Из моих»? «Из моих» – кого?

И этот другой – вдруг выпрыгнул и заорал:

– Я не позволю! Я хочу, чтоб никто, кроме меня. Я убью всякого, кто... Потому что я вас – я вас —

Я увидел: лохматыми лапами он грубо схватил ее, разорвал у ней тонкий шелк, впился зубами – я точно помню: именно зубами.

Уже не знаю как – I выскользнула. И вот – глаза задернуты этой проклятой непроницаемой шторой – она стояла, прислонившись спиной к шкафу, и слушала меня.

Помню: я был на полу, обнимал ее ноги, целовал колени. И молил: «Сейчас – сейчас же – сию же минуту...»

Острые зубы – острый, насмешливый треугольник бровей. Она наклонилась, молча отстегнула мою бляху.

«Да! Да, милая – милая», – я стал торопливо сбрасывать с себя юнифу. Но I – так же молчаливо – поднесла к самым моим глазам часы на моей бляхе. Было без пяти минут 22.30.

Я похолодел. Я знал, что это значит – показаться на улице позже 22.30. Все мое сумасшествие – сразу как сдунуло. Я – был я. Мне было ясно одно: я ненавижу ее, ненавижу, ненавижу!

Не прощаясь, не оглядываясь – я кинулся вон из комнаты. Кое-как прикалывая бляху на бегу, через ступени – по запасной лестнице (боялся – кого-нибудь встречу в лифте) – выскочил на пустой проспект.

Все было на своем месте – такое простое, обычное, закономерное: стеклянные, сияющие огнями дома, стеклянное бледное небо, зеленоватая неподвижная ночь. Но под этим тихим прохладным стеклом – неслось неслышно буйное, багровое, лохматое. И я, задыхаясь, мчался – чтобы не опоздать.

Вдруг почувствовал: наспех приколотая бляха отстегивается – отстегнулась, звякнула о стеклянный тротуар. Нагнулся поднять – и в секундной тишине: чей-то топот сзади. Обернулся: из-за угла поворачивало что-то маленькое, изогнутое. Так, по крайней мере, мне тогда показалось.

Я понесся во весь дух – только в ушах свистело. У входа остановился: на часах было без одной минуты 22.30. Прислушался: сзади никого. Все это – явно была нелепая фантазия, действие яда.

Ночь была мучительна. Кровать подо мною подымалась, опускалась и вновь подымалась – плыла по синусоиде. Я внушал себе: «Ночью – номера обязаны спать; это обязанность –

такая же, как работа днем. Это необходимо, чтобы работать днем. Не спать ночью – преступно...» И все же не мог, не мог.

Я гибну. Я не в состоянии выполнять свои обязанности перед Единым Государством... Я...

Запись 11-я.

Конспект:

... НЕТ, НЕ МОГУ, ПУСТЬ ТАК, БЕЗ КОНСПЕКТА

Вечер. Легкий туман. Небо задернуто золотисто-молочной тканью, и не видно: что там – дальше, выше. Древние знали, что там их величайший скучающий скептик – Бог. Мы знаем, что там хрустально-синее, голое, непристойное ничто. Я теперь не знаю, что там: я слишком много узнал. Знание, абсолютно уверенное в том, что оно безошибочно, – это вера. У меня была твердая вера в себя, я верил, что знаю в себе все. И вот – —

Я – перед зеркалом. И первый раз в жизни – именно так: первый раз в жизни – вижу себя ясно, отчетливо, сознательно – с изумлением вижу себя, как кого-то «его». Вот я – он: черные, прочерченные по прямой брови; и между ними – как шрам – вертикальная морщина (не знаю: была ли она раньше). Стальные, серые глаза, обведенные тенью бессонной ночи; и за этой сталью... оказывается, я никогда не знал, что там. И из «там» (это «там» одновременно и здесь, и бесконечно далеко) – из «там» я гляжу на себя – на него, и твердо знаю: он – с прочерченными по прямой бровями – посто-

ронний, чужой мне, я встретился с ним первый раз в жизни. А я настоящий, я – не – он...

Нет: точка. Все это – пустяки, и все эти нелепые ощущения – бред, результат вчерашнего отравления... Чем: глотком зеленого яда – или ею? Все равно. Я записываю это, только чтобы показать, как может странно запутаться и сбиться человеческий – такой точный и острый – разум. Тот разум, который даже эту, пугавшую древних, бесконечность сумел сделать удобоваримой – посредством...

Щелк нумератора – и цифры: R-13. Пусть, я даже рад: сейчас одному мне было бы...

Через 20 минут:

На плоскости бумаги, в двухмерном мире – эти строки рядом, но в другом мире... Я теряю цифроощущение: 20 минут – это может быть 200 или 200 000. И это так дико: спокойно, размеренно, обдумывая каждое слово, записывать то, что было у меня с R. Все равно как если бы вы, положив нога на ногу, сели в кресло у собственной своей кровати – и с любопытством смотрели, как вы, вы же, – корчитесь на этой кровати.

Когда вошел R-13, я был совершенно спокоен и нормален. С чувством искреннего восхищения я стал говорить о том, как великолепно ему удалось хореизировать приговор и что больше всего именно этими хорейми был изрублен, уничтожен тот безумец.

– ... И даже так: если бы мне предложили сделать схема-

тический чертеж Машины Благодетеля, я бы непременно – непременно – как-нибудь нанес на этом чертеже ваши хореи, – закончил я.

Вдруг вижу: у R – матовеют глаза, сереют губы.

– Что с вами?

– Что-что? Ну... Ну просто надоело: все кругом – приговор, приговор. Не желаю больше об этом – вот и все. Ну, не желаю!

Он насупился, тер затылок – этот свой чемоданчик с посторонним, непонятым мне багажом. Пауза. Вот нашел в чемоданчике что-то, вытащил, разворачивает, развернул – залакировались смехом глаза, вскочил.

– А вот для вашего «*Интеграла*» я сочиняю... это – да! Это вот да!

Прежний: губы шлепают, брызжут, слова хлещут фонтаном.

– Понимаете («п» – фонтан) – древняя легенда о рае... Это ведь о нас, о теперь. Да! Вы вдумайтесь. Тем двум в раю – был представлен выбор: или счастье без свободы – или свобода без счастья; третьего не дано. Они, олухи, выбрали свободу – и что же: понятно – потом века тосковали об оковах. Об оковах – понимаете, – вот о чем мировая скорбь. Века!

И только мы снова догадались, как вернуть счастье... Нет, вы дальше – дальше слушайте! Древний Бог и мы рядом, за одним столом. Да! Мы помогли Богу окончательно одолеть диавола – это ведь он толкнул людей нарушить запрет и вку-

силь пагубной свободы, он – змий ехидный. А мы сапожищем на головку ему – тррах! И готово: опять рай. И мы снова простодушны, невинны, как Адам и Ева. Никакой этой путаницы о добре, зле: все – очень просто, райски, детски просто. Благодетель, Машина, Куб, Газовый Колокол, Хранители – все это добро, все это – величественно, прекрасно, благородно, возвышенно, кристально-чисто. Потому что это охраняет нашу несвободу – то есть наше счастье. Это древние стали бы тут судить, рядить, ломать голову – этика, неэтика... Ну, да ладно: словом, вот этакую вот райскую поэмку, а? И при этом тон серьезнейший... понимаете? Штучка, а?

Ну еще бы не понять. Помню, я подумал: «Такая у него нелепая, асимметричная внешность и такой правильно мыслящий ум». И оттого он так близок мне – настоящему мне (я все же считаю прежнего себя – настоящим, все теперешнее – это, конечно, только болезнь).

Р, очевидно, прочел это у меня на лбу, обнял меня за плечи, захохотал.

– Ах вы... Адам! Да, кстати, насчет Евы...

Он порылся в кармане, вытащил записную книжку, перелистал.

– Послезавтра... нет: через два дня – у О розовый талон к вам. Так как вы? По-прежнему? Хотите, чтобы она...

– Ну да, ясно.

– Так и скажу. А то сама она, видите ли, стесняется... Такая, я вам скажу, история! Меня она только так, розово-та-

лонно, а вас... И не говорит, кто это четвертый влез в наш треугольник. Кто – кайтесь, греховодник, ну?

Во мне взвился занавес, и – шелест шелка, зеленый флакон, губы... И ни к чему, некстати – у меня вырвалось (если бы я удержался!):

– А скажите: вам когда-нибудь случалось пробовать никотин или алкоголь?

Р подобрал губы, поглядел на меня исподлобья. Я совершенно ясно слышал его мысли: «Приятель-то ты – приятель... А все-таки...» И ответ:

– Да как сказать? Собственно – нет. Но я знал одну женщину...

– I, – закричал я.

– Как... вы – вы тоже с нею? – налился смехом, захлебнулся и сейчас брызнет.

Зеркало у меня висело так, что смотреться в него надо было через стол: отсюда, с кресла, я видел только свой лоб и брови.

И вот я – настоящий – увидел в зеркале исковерканную прыгающую прямую бровей, и я настоящий – услышал дикий, отвратительный крик:

– Что «тоже»? Нет: что такое «тоже»? Нет, – я требую.

Распяленные негрские губы. Вытаращенные глаза... Я – настоящий – крепко схватил за шиворот этого другого себя – дикого, лохматого, тяжело дышащего. Я – настоящий – сказал ему, R:

– Простите меня, ради Благодетеля. Я совсем болен, не сплю. Не понимаю, что со мной...

Толстые губы мимолетно усмехнулись:

– Да-да-да! Я понимаю – я понимаю! Мне все это знакомо... разумеется, теоретически. Прощайте!

В дверях повернулся черным мячиком – назад к столу, бросил на стол книгу:

– Последняя моя... Нарочно принес – чуть не забыл. Прощайте... – «п» брызнуло в меня, укатился...

Я – один. Или, вернее: наедине с этим, другим «я». Я – в кресле и, положив ногу на ногу, из какого-то «там» с любопытством гляжу, как я – я же – корчусь на кровати.

Отчего – ну отчего целых три года я и О – жили так дружно – и вдруг теперь одно только слово о той, об I... Неужели все это сумасшествие – любовь, ревность – не только в идиотских древних книжках? И главное – я! Уравнения, формулы, цифры – и...

это – ничего не понимаю! Ничего... Завтра же пойду к R и скажу, что —

Неправда: не пойду. И завтра, и послезавтра – никогда больше не пойду. Не могу, не хочу его видеть. Конец! Треугольник наш – развалился.

Я – один. Вечер. Легкий туман. Небо задернуто молочно-золотистой тканью, если бы знать: что там – выше? И если бы знать: кто – я, какой – я?

Запись 12-я.

Конспект:

ОГРАНИЧЕНИЕ БЕСКОНЕЧНОСТИ.

АНГЕЛ. РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПОЭЗИИ

Мне все же кажется – я выздоровею, я могу выздороветь. Прекрасно спал. Никаких этих снов или иных болезненных явлений. Завтра придет ко мне милая О, все будет просто, правильно и ограничено, как круг. Я не боюсь этого слова – «ограниченность»: работа высшего, что есть в человеке, – рассудка – сводится именно к непрерывному ограничению бесконечности, к раздроблению бесконечности на удобные, легкопереваримые порции – дифференциалы. В этом именно божественная красота моей стихии – математики. И вот понимания этой самой красоты как раз и не хватает той. Впрочем, это так – случайная ассоциация.

Все это – под мерный, метрический стук колес подземной дороги – я про себя скандирую колеса – и стихи R (его вчерашняя книга). И чувствую: сзади, через плечо, осторожно перегибается кто-то и заглядывает в развернутую страницу. Не оборачиваясь, одним только уголком глаза я вижу: розовые, распростертые крылья-уши, двоякоизогнутое... он! Не хотелось мешать ему – и я сделал вид, что не заметил. Как он очутился тут – не знаю: когда я входил в вагон – его как будто не было.

Это незначительное само по себе происшествие особенно хорошо подействовало на меня, я бы сказал: укрепило. Так приятно чувствовать чей-то зоркий глаз, любовно охра-

няющий от малейшей ошибки, от малейшего неверного шага. Пусть это звучит несколько сентиментально, но мне приходит в голову опять все та же аналогия: ангелы-хранители, о которых мечтали древние. Как много из того, о чем они только мечтали, в нашей жизни материализовалось.

В тот момент, когда я ощутил ангела-хранителя у себя за спиной, я наслаждался сонетом, озаглавленным «Счастье». Думаю – не ошибусь, если скажу, что это редкая по красоте и глубине мысли вещь. Вот первые четыре строчки:

Вечно влюбленные дважды два,
Вечно слитые в страстном четыре,
Самые жаркие любовники в мире -
Неотрывающиеся дважды два...

И дальше все об этом: о мудром, вечном счастье таблицы умножения.

Всякий подлинный поэт – непременно Колумб. Америка и до Колумба существовала века, но только Колумб сумел отыскать ее. Таблица умножения и до R-13 существовала века, но только R-13 сумел в девственной чаще цифр найти новое Эльдorado. В самом деле: есть ли где счастье мудрее, безоблачнее, чем в этом чудесном мире. Сталь – ржавеет; древний Бог – создал древнего, то есть способного ошибаться, человека – и, следовательно, сам ошибся. Таблица умножения мудрее, абсолютнее древнего Бога: она никогда – понимаете – никогда – не ошибается. И нет счастливее цифр,

живущих по стройным вечным законам таблицы умножения. Ни колебаний, ни заблуждений. Истина – одна, и истинный путь – один; и эта истина – дважды два, и этот истинный путь – четыре. И разве не абсурдом было бы, если бы эти счастливо, идеально перемноженные двойки – стали думать о какой-то свободе, то есть ясно – об ошибке? Для меня – аксиома, что R-13 сумел схватить самое основное, самое...

Тут я опять почувствовал – сперва на своем затылке, потом на левом ухе – теплое, нежное дуновение ангела-хранителя. Он явно заметил, что книга на коленях у меня – уже закрыта и мысли мои – далеко. Что ж, я хоть сейчас готов развернуть перед ним страницы своего мозга: это такое спокойное, отрадное чувство. Помню: я даже оглянулся, я настойчиво, просительно посмотрел ему в глаза, но он не понял – или не захотел понять – он ни о чем меня не спросил... Мне остается одно: все рассказывать вам, неведомые мои читатели (сейчас вы для меня так же дороги, и близки, и недостижимы – как был он в тот момент).

Вот был мой путь: от части к целому, часть – R-13, величественное целое – наш Институт Государственных Поэтов и Писателей. Я думал: как могло случиться, что древним не бросалась в глаза вся нелепость их литературы и поэзии. Огромнейшая великолепная сила художественного слова – тратилась совершенно зря. Просто смешно: всякий писал – о чем ему вздумается. Так же смешно и нелепо, как то, что море у древних круглые сутки тупо билось о берег, и заключен-

ные в волнах миллионы килограмметров – уходили только на подогревание чувств у влюбленных. Мы из влюбленного шепота волн – добыли электричество, из брызжущего бешеной пеной зверя – мы сделали домашнее животное; и точно так же у нас приручена и оседлана, когда-то дикая, стихия поэзии. Теперь поэзия – уже не беспардонный соловьиный свист: поэзия – государственная служба, поэзия – польза.

Наши знаменитые «Математические Нонны»: без них – разве могли бы мы в школе так искренне и нежно полюбить четыре правила арифметики? А «Шипы» – этот классический образ: Хранители – шипы на розе, охраняющие нежный Государственный Цветок от грубых касаний... Чье каменное сердце останется равнодушным при виде невинных детских уст, лепечущих, как молитву: «Злой мальчик розу хватить рукой. Но шип стальной кольнул иглой, шалун – ой, ой – бежит домой» – и так далее? А «Ежедневные оды Благодетелю»? Кто, прочитав их, не склонится набожно перед самоотверженным трудом этого Нумера из Нумеров? А жуткие, красные «Цветы Судебных приговоров»? А бессмертная трагедия «Опоздавший на работу»? А настольная книга «Стансов о половой гигиене»?

Вся жизнь во всей ее сложности и красоте – навеки зачеканена в золоте слов.

Наши поэты уже не витают более в эмпиреях: они спустились на землю; они с нами в ногу идут под строгий меха-

нический марш Музыкального Завода; их лира – утренний шорох электрических зубных щеток и грозный треск искр в машине Благодетеля, и величественное эхо Гимна Единому Государству, и интимный звон хрустально-сияющей ночной вазы, и волнующий треск падающих штор, и веселые голоса новейшей поваренной книги, и еле слышный шепот уличных мембран.

Наши боги – здесь, внизу, с нами – в Бюро, в кухне, в мастерской, в уборной; боги стали, как мы: эрго – мы стали, как боги. И к вам, неведомые мои планетные читатели, к вам мы придем, чтобы сделать вашу жизнь божественно-разумной и точной, как наша...

Запись 13-я.

Конспект:

ТУМАН. ТЫ. СОВЕРШЕННО НЕЛЕПОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

На заре проснулся, – в глаза мне розовая, крепкая твердь. Все хорошо, кругло. Вечером придет О. Я – несомненно уже здоров. Улыбнулся, заснул.

Утренний звонок, – встаю – и совсем другое: сквозь стекла потолка, стен, всюду, везде, насквозь – туман. Сумасшедшие облака, все тяжелее – и легче, и ближе, и уже нет границ между землею и небом, все летит, тает, падает, не за что ухватиться. Нет больше домов: стеклянные стены распустились в тумане, как кристаллики соли в воде. Если посмотреть с тротуара – темные фигуры людей в домах – как взвешенные частицы в бредовом, молочном растворе – повисли

низко, и выше, и еще выше – в десятом этаже. И все дымится – может быть, какой-то неслышно бушующий пожар.

Ровно в 11.45: я тогда нарочно взглянул на часы – чтобы ухватиться за цифры – чтобы спасли хоть цифры.

В 11.45, перед тем как идти на обычные, согласно Часовой Скрижали, занятия физическим трудом, я забежал к себе в комнату. Вдруг телефонный звонок, голос – длинная, медленная игла в сердце:

– Ага, вы дома? Очень рада. Ждите меня на углу. Мы с вами отправимся... ну, там увидите куда.

– Вы отлично знаете: я сейчас иду на работу.

– Вы отлично знаете, что сделаете так, как я вам говорю. До свидания. Через две минуты...

Через две минуты я стоял на углу. Нужно же было показать ей, что мною управляет Единое Государство, а не она. «Так, как я вам говорю»... И ведь уверена: слышно по голосу. Ну, сейчас я поговорю с ней по-настоящему...

Серые, из сырого тумана сотканые юнифы торопливо существовали возле меня секунду и неожиданно растворялись в туман. Я не отрывался от часов, я был – острая, дрожащая секундная стрелка. Восемь, десять минут... Без трех, без двух двенадцать...

Кончено. На работу – я уже опоздал. Как я ее ненавижу. Но надо же мне было показать...

На углу в белом тумане – кровь – разрез острым ножом – губы.

– Я, кажется, задержала вас. Впрочем, все равно. Теперь вам поздно уже.

Как я ее – впрочем, да: поздно уж.

Я молча смотрел на губы. Все женщины – губы, одни губы. Чьи-то розовые, упруго-круглые: кольцо, нежная ограда от всего мира. И эти: секунду назад их не было, и только вот сейчас – ножом, – и еще каплет сладкая кровь.

Ближе – прислонилась ко мне плечом – и мы одно, из нее переливается в меня – и я знаю: так нужно. Знаю каждым нервом, каждым волосом, каждым до боли сладким ударом сердца. И такая радость покориться этому «нужно». Вероятно, куску железа так же радостно покориться неизбежному, точному закону – и впитаться в магнит. Камню, брошенному вверх, секунду поколебаться – и потом стремглав вниз, на-земь. И человеку, после агонии, наконец вздохнуть последний раз – и умереть.

Помню: я улыбнулся растерянно и ни к чему сказал:

– Туман... Очень.

– Ты любишь туман?

Это древнее, давно забытое «ты», «ты» властелина к рабу – вошло в меня остро, медленно: да, я раб, и это – тоже нужно, тоже хорошо.

– Да, хорошо... – вслух сказал я себе. И потом ей: – Я ненавижу туман. Я боюсь тумана.

– Значит – любишь. Боишься – потому, что это сильнее тебя, ненавидишь – потому что боишься, любишь – потому

что не можешь покорить это себе. Ведь только и можно любить непокорное.

Да, это так. И именно потому – именно потому я...

Мы шли двое – одно. Где-то далеко сквозь туман чуть слышно пело солнце, все наливалось упругим, жемчужным, золотым, розовым, красным. Весь мир – единая необъятная женщина, и мы – в самом ее чреве, мы еще не родились, мы радостно зреем. И мне ясно, нерушимо ясно: все – для меня: солнце, туман, розовое, золотое – для меня...

Я не спрашивал, куда мы шли. Все равно: только бы идти, идти, зреть, наливаться все упруге —

– Ну вот... – I остановилась у дверей. – Здесь сегодня дежурит как раз один... Я о нем говорила тогда, в Древнем Доме.

Я издали, одними глазами, осторожно сберегая зреющее, – прочел вывеску: «Медицинское Бюро». Все понял.

Стеклянная, полная золотого тумана, комната. Стеклянные потолки с цветными бутылками, банками. Провода. Синеватые искры в трубках.

И человек – тончайший. Он весь как будто вырезан из бумаги, и как бы он ни повернулся – все равно у него только профиль, остро отточенный: сверкающее лезвие – нос, ножницы – губы.

Я не слышал, что ему говорила I: я смотрел, как она говорила, – и чувствовал: улыбаюсь неудержимо, блаженно. Сверкнули лезвием ножницы-губы, и врач сказал:

– Так, так. Понимаю. Самая опасная болезнь – опаснее я ничего не знаю... – засмеялся, тончайшей бумажной рукой быстро написал что-то, отдал листок I; написал – отдал мне.

Это были удостоверения, что мы – больны, что мы не можем явиться на работу. Я крал свою работу у Единого Государства, я – вор, я – под Машиной Благодетеля. Но это мне – далеко, равнодушно, как в книге... Я взял листок, не колеблясь ни секунды; я – мои глаза, губы, руки – я знал: так нужно.

На углу, в полупустом гараже мы взяли аэро. I опять, как тогда, села за руль, подвинула стартер на «вперед», мы оторвались от земли, поплыли. И следом за нами все: розово-золотой туман; солнце; тончайше-лезвийный профиль врача, вдруг такой любимый и близкий. Раньше – все вокруг солнца; теперь я знал, все вокруг меня – медленно, блаженно, с зажмуренными глазами...

Старуха у ворот Древнего Дома. Милый, заросший, с лучами-морщинами рот. Вероятно, был заросшим все эти дни – и только сейчас раскрылся, улыбнулся:

– А-а, проказница! Нет чтобы работать, как все... ну уж ладно! Если что – я тогда прибегу, скажу...

Тяжелая, скрипучая, непрозрачная дверь закрылась, и тотчас же с болью раскрылось сердце широко – еще шире: – настезь. Ее губы – мои, я пил, пил, отрывался, молча глядел в распахнутые мне глаза – и опять...

Полумрак комнат, синее, шафранно-желтое, темно-зеле-

ный сафьян, золотая улыбка Будды, мерцание зеркал. И – мой старый сон, такой теперь понятный: все напитано золотисто-розовым соком, и сейчас перельется через край, брызнет – —

Созрело. И неизбежно, как железо и магнит, с сладкой покорностью точному непреложному закону – я влился в нее. Не было розового талона, не было счета, не было Единого Государства, не было меня. Были только нежно-острые, стиснутые зубы, были широко распахнутые мне золотые глаза – и через них я медленно входил внутрь, все глубже. И тишина – только в углу – за тысячи миль капают капли в умывальнике, и я – вселенная, и от капли до капли – эры, эпохи...

Накинув на себя юнифу, я нагнулся к I – и глазами вбирал в себя ее последний раз.

– Я знала это... Я знала тебя... – сказала I очень тихо. Быстро поднялась, надела юнифу и всегдашнюю свою острую улыбку-укус. – Ну-с, падший ангел. Вы ведь теперь погибли. Нет, не боитесь? Ну, до свидания! Вы вернетесь один. Ну?

Она открыла зеркальную дверь, вделанную в стену шкафа; через плечо – на меня, ждала. Я послушно вышел. Но едва переступил порог – вдруг стало нужно, чтобы она прижалась ко мне плечом – только на секунду плечом, больше ничего.

Я кинулся назад – в ту комнату, где она (вероятно) еще застегивала юнифу перед зеркалом, вбежал и остановился.

Вот – ясно вижу – еще покачивается старинное кольцо на ключе в двери шкафа, а I – нет. Уйти она никуда не могла – выход из комнаты только один – и все-таки ее нет. Я обшарил все и даже открыл шкаф и ощупал там пестрые древние платья: никого...

Мне как-то неловко, планетные мои читатели, рассказывать вам об этом совершенно невероятном происшествии. Но что ж делать, если все это было именно так. А разве весь день с самого утра не был полон невероятностей, разве не похоже все на эту древнюю болезнь сновидений? И если так – не все ли равно: одной нелепостью больше или меньше? Кроме того, я уверен: раньше или позже всякую нелепость мне удастся включить в какой-нибудь силлогизм. Это меня успокаивает, надеюсь, успокоит и вас.

... Как я полон! Если бы вы знали: как я полон!

Запись 14-я.

Конспект:

«МОЙ». НЕЛЬЗЯ. ХОЛОДНЫЙ ПОЛ

Все еще о вчерашнем. Личный час перед сном у меня был занят, и я не мог записать вчера. Но во мне все это – как вырезано, и потому-то особенно – должно быть, навсегда – этот нестерпимо холодный пол...

Вечером должна была ко мне прийти О – это был ее день. Я спустился к дежурному взять право на шторы.

– Что с вами, – спросил дежурный. – Вы какой-то сегодня...

– Я... я болен...

В сущности, это была правда: я, конечно, болен. Все это болезнь. И тотчас же вспомнилось: да, ведь удостоверение... Пощупал в кармане: вот – шуршит. Значит – все было, все было действительно...

Я протянул бумажку дежурному. Чувствовал, как загорелись щеки; не глядя видел: дежурный удивленно смотрит на меня...

И вот – 21.30. В комнате слева – спущены шторы. В комнате справа – я вижу соседа: над книгой – его шишковатая, вся в кочках лысина и лоб – огромная, желтая парабола. Я мучительно хожу, хожу: как мне – после всего – с нею, с О? И справа – ясно чувствую на себе глаза, отчетливо вижу морщины на лбу – ряд желтых, неразборчивых строк; и мне почему-то кажется – эти строки обо мне.

Без четверти 22 в комнате у меня – радостный розовый вихрь, крепкое кольцо розовых рук вокруг моей шеи. И вот чувствую: все слабее кольцо, все слабее – разомкнулось – руки опустились...

– Вы не тот, вы не прежний, вы не мой!

– Что за дикая терминология: «мой». Я никогда не был... – и запнулся: мне пришло в голову – раньше не был, верно, но теперь... Ведь я теперь живу не в нашем разумном мире, а в древнем, бредовом, в мире корней из минус-единицы.

Шторы падают. Там, за стеной направо, сосед роняет кни-

гу со стола на пол, и в последнюю, мгновенную узкую щель между шторой и полом — я вижу: желтая рука схватила книгу, и во мне: изо всех сил ухватиться бы за эту руку...

— Я думала — я хотела встретить вас сегодня на прогулке. Мне о многом — мне надо вам так много...

Милая, бедная О! Розовый рот — розовый полумесяц рожками книзу. Но не могу же я рассказать ей все, что было — хотя бы потому, что это сделает ее соучастницей моих преступлений: ведь я знаю, у ней не хватит силы пойти в Бюро Хранителей и, следовательно — —

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.